ИВАН СЛОБОДЧИКОВ

БОЛЬШИЕ ПОЛЯНЫ

ИВАН СЛОБОДЧИКОВ

БОЛЬШИЕ ПОЛЯНЫ

Роман

Часть вторая

Башкирское книжное издательство
Уфа — 1973

Р2
С48

Первая часть романа Ивана Слободчикова «Большие поляны» вышла отдельным изданием в 1970 году.

Эта книга является второй частью, завершающей роман.

События в романе развертываются накануне исторического мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС и подтверждают жизненную верность и необходимость принятых партией решений. В основе произведения — борьба за новые методы и стиль руководства на селе, подъем экономики колхозов и претворение в жизнь политики партии. Писатель показывает, как под влиянием исторических событий меняются люди, их отношение к труду, повышается чувство коллективизма. В сюжет романа органично вписываются, выступая порой на первый план, события семейно-бытовые. Автор заостряет внимание на теме любви, верности, чистоты человеческих взаимоотношений.

Главный герой — председатель колхоза Егор Уфимцев — принципиальный, преданный делу человек,— показан в самый трудный момент своей жизни. По настоянию начальника производственного управления Пастухова было созвано бюро парткома для обсуждения персонального дела Уфимцева, возбужденного по доносу заместителя председателя колхоза Петра Векшина. Положение усугублялось еще и тем, что жена Уфимцева, Аня, поверила клевете на мужа и вынудила его уйти из дому...

В последних главах книги семейная драма Уфимцева находит свое завершение, решается судьба Пастухова, Векшина, Груни Васьковой и других героев.

Достоинством романа является его жизнеутверждающий пафос, актуальность проблематики, верность художественного отражения времени.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Секретарь парторганизации колхоза Анна Ивановна Стенникова узнала о заседании бюро парткома совершенно случайно.

Приехав в Колташи еще до открытия банка, она, чтобы не терять зря времени, пошла в партком,— надо было передать справку о политико-массовой работе на уборке.

Первым, кого она встретила, едва переступив порог, был Степочкин, вышедший из приемной секретаря парткома Акимова.

— Вот как ты кстати,— обрадовался он, торопливо сунув ей руку.— Пройдем ко мне.

Стенникова пошла за ним, не видя ничего особенного в этом приглашении: обычный разговор с секретарем низовой партийной организации. Единственно, чего она опасалась, зная характер заместителя секретаря парткома, так его наставлений, нравоучений — это могло задержать ее к открытию банка, а прийти в банк позже, значит, ждать очереди.

Но то, что она услышала, заставило ее позабыть, зачем она приехала в Колташи.

Степочкин, войдя в кабинет и усевшись за стол, сказал:

— Вот какое дело, товарищ Стенникова. На два часа назначено бюро парткома, будет рассматриваться персональное дело Уфимцева. Тебе поручается обеспечить явку на бюро Уфимцева и Векшина. И ты сама, как секретарь парторганизации колхоза, должна присутствовать при разборе дела своего коммуниста.

По мере того, как Степочкин говорил, у Стенниковой ширились от изумления глаза, она стояла, оглушенная неожиданно свалившейся на нее новостью.

— Подождите, как же так? — еще не придя в себя, проговорила она.— Я к этому совершенно не готова... Надо было заранее предупредить.

— А чего тебе готовиться? — сбычился Степочкин.— Материалы по делу — в парткоме, что требуется — в них есть. Твое дело доложить, как на сегодняшний день обстоит с Уфимцевым, с его семейным положением.

Стенникова с горечью подумала: как все это некстати! Она действительно не готова на бюро. Про Уфимцева знала одно: он жертва деревенских сплетен и излишней щепетильности своей жены, и была убеждена, что их ссора временная, основанная на предубеждениях, что они не сегодня-завтра помирятся. Правда, ей не все казалось ясным в причинах разрыва семьи Васьковых, но это меньше всего занимало ее.

— Послушайте, Василий Васильевич, а почему сразу на бюро парткома? Полагается

вначале в первичной организации обсудить, лишь потом на бюро.

— А вот ты и расскажешь на бюро, почему либеральничала, не удосужилась до сего времени обсудить аморальное поведение своего коммуниста. Помнишь, как ты мне сказала про заявление на Уфимцева, что это глупая сплетня? Вот за эту беспринципность ты и ответишь сегодня!

— Согласна отвечать, но не за то, в чем вы меня обвиняете. В деле Уфимцева нет аморального проступка, там драма, семейная драма, где не разбирательство нужно, а помощь. Понимаете? Помощь человеческая, партийная. И вот тут я, по-видимому, виновата, опоздала с этой помощью.

— Разберемся, товарищ Стенникова, разберемся во всем,— успокоил ее Степочкин.— И с твоей беспечностью, и с Уфимцевым... Кстати, на бюро будут разбираться не одни любовные похождения вашего председателя. Там и другие грешки за ним значатся...

Стенникова поняла бесполезность дальнейшего разговора со Степочкиным, вышла, постояла в коридоре, подумала: не зайти ли к Акимову, поговорить о деле Уфимцева, может, снимут вопрос с сегодняшней повестки? Но Степочкин сказал ей, что еще какие-то дела Уфимцева подлежат разбору на бюро, и она не решилась идти к секретарю парткома.

Позвонив из отдела в колхоз, Стенникова не застала на месте ни Уфимцева, ни Векшина. Попросив счетовода Лилю разыскать их и передать о явке на бюро, она пошла в банк,— надо было управиться до начала заседания.

После, вернувшись из банка и находясь в приемной секретаря парткома, дожидаясь вызова на бюро, она пришла к мысли, что для Уфимцева сегодняшнее разбирательство может окончиться очень плохо. Подтверждало присутствие в приемной Векшина с Васьковым. Она знала об отношениях Векшина и Уфимцева и не ждала ничего хорошего от Петра Ильича. А чего можно ждать от Васькова, обиженного уходом жены, страдающего от ревности, от оскорбленного самолюбия?

И она терзалась в мыслях, что не может помочь Уфимцеву, у нее нет оснований к защите его, кроме уверенности в честности председателя колхоза.

Лишь вчера они с Уфимцевым говорили о Векшине и Анна Ивановна еще поспорила с ним, защищая Петра Ильича.

Произошло это в начале дня. Только что уехал начальник производственного управления Пастухов, как в стенку постучал Уфимцев, прося ее зайти.

Она вошла, остановилась возле двери. Но Уфимцев жестом пригласил подойти поближе.

— Садитесь, Анна Ивановна. Есть разговор.

Она поспешно подошла к столу, села на краешек стула.

— Только покороче, Георгий Арсентьевич. Готовлюсь в банк.

— Короче не получится, разговор предстоит серьезный. Причем не как с бухгалтером, а как с секретарем парторганизации.—

Уфимцев посмотрел на часы.— В банк сегодня вы уже и так не успеете.

Она скривила недовольно губы, но взглянув на озабоченного председателя, сказала:

— Ну что ж, давайте поговорим... Только позвольте, схожу закурю.

Она вышла и вскоре вернулась с сигаретой и со спичками.

— Слушаю вас,— сказала она, усаживаясь, и, чиркнув спичкой, прикурила, пыхнула сигаретой, помахала рукой, разгоняя дым.

— Разговор пойдет о Векшине... коммунисте Векшине, моем заместителе,— начал Уфимцев каким-то чуждым ему официальным тоном. Анна Ивановна удивилась, зачем он так говорит с ней, но ничего не сказала, не стала его прерывать.— Вам не кажется, что давно следовало поговорить об этом человеке? И не только вот так, с глазу на глаз, а на партийном собрании?

— Он что-нибудь натворил? — спросила она.— Может, противозаконная сделка?

— При чем тут сделка? — рассердился Уфимцев.— Сделка — дело хозяйственное, тут я сам разберусь. Речь идет о партийном лице коммуниста, о его поведении.

— Нельзя ли пояснее, Георгий Арсентьевич, что-то я не пойму.

— А вы забыли, как он вел себя на собрании колхозников, как агитировал их не сдавать хлеб государству?

Она помолчала, попыхала сигареткой.

— Помню, конечно. Но и вы, наверное, не забыли, что против вашего предложения

выступал не один Векшин... Знаю, вы скажете, Векшин — коммунист, заместитель председателя колхоза, к нему должны быть другие требования. Я с этим согласна, но... Говорила я с ним после собрания, хотя наперед знала, разговор будет бесполезным. Векшина не переубедишь, он живет старыми понятиями, привык к методам Позднина и никак не может понять своих заблуждений.

— А мне лично кажется, что он не заблуждается, а, похоже, сознательно ведет дело к тому, чтобы развалить колхоз. По-моему, Векшин — враг нашего колхоза, с которым следует поступить так же, как поступили с его тестем Самоваровым в тридцатом году.

Анна Ивановна невольно рассмеялась:

— Ну, это вы хватили чересчур!.. Извините, Георгий Арсентьевич, не мне вас учить, но нельзя же в свои противники записывать всех, кто почему-либо не согласен с нами или вносит предложение, которое является ошибочным. Может, человек просто заблуждается.

Уфимцев помрачнел. А ей показалось, он понял ее, убедился, что сгустил краски, говоря о Векшине.

— Значит, вы считаете, что действия Векшина не подлежат ни обсуждению, ни наказанию? — спросил он.

Она чиркнула спичкой, зажгла потухшую сигарету.

— Почему не подлежат? Колхозники поддержали наше предложение, а не Векшина, разве это не является коллективным осуждением его? И даже наказанием... Векшин — че-

ловек отсталый, малограмотный, и, видимо, нам не следует его больше рекомендовать на руководящую работу в колхозе.

— А письмо в Москву? Сборы под ним подписей колхозников? Это как назвать: отсталостью Векшина, его малограмотностью, или этому есть другое название?

— Слышала о письме,— ответила она.— Вы его читали?

— Нет, разумеется.

— И я не читала. Что же прежде времени о письме говорить? Вот когда окажется, что Векшин наклеветал, тогда и обсуждать будем. Нет, Георгий Арсентьевич, писать в высшие инстанции право каждого гражданина, тут запретов быть не может.

Уфимцев встал, заходил по кабинету. Анна Ивановна с тревогой следила за ним, крутила в пальцах коробок спичек, постукивала им по столу.

Успокоившись, Уфимцев вновь сел, навалился грудью на стол.

— Должен сообщить, товарищ секретарь, что, благодаря нашему попустительству, Векшин пошел уже на прямую провокацию.

И он рассказал ей о событиях в Шалашах, не преминув упомянуть, что и в Больших Полянах ходят слухи, пущенные Векшиным, будто в колхозе нет больше зерна на трудодни.

— То, что вы рассказали, это уже серьезно,— выслушав его, сказала она.— Но прежде следует проверить... Если подтвердится, будем обсуждать.

— Так давайте проверяйте! — нетерпеливо попросил Уфимцев.

— Хорошо. Вот вернусь из района... Как вернусь, сразу займусь.

Их долго не вызывали на бюро — не было Уфимцева.

Часа в четыре в приемную вышел хмурый, чем-то недовольный Степочкин.

— Товарищи Векшин и Васьков могут ехать домой. Освобождаются от бюро,— сказал он.— А ты, Стенникова, жди, вызовем.

Анна Ивановна видела, как тяжело, неохотно поднялся со стула Векшин. Он был в явном замешательстве.

— Что значит — освобождаются? — обиженно спросил он.— Вы же сами, Василий Васильевич, говорили мне...

— Это не мое решение,— прервал его сердито Степочкин и посмотрел невольно на Стенникову,— бюро так решило. Ваши заявления в деле, без вас разберемся. Поезжайте домой, к своим обязанностям.

Векшин недовольно отвернулся от Степочкина, поглядел на безмолвного, присмиревшего Васькова, надел шляпу и вышел из приемной. Васьков последовал за ним, скромно держа у груди свою белую фуражку.

Степочкин проводил их взглядом и, повернувшись к Стенниковой, приказал:

— А ты сиди. Как подъедет Уфимцев — доложишься.

И вернулся в кабинет.

После ухода Векшина и Васькова Стенникова ощутила некоторое облегчение, даже маленькую радость, словно ей сделали подарок, которого она не ожидала. Но радоваться было еще рано: Степочкин говорил о каких-то заявлениях Васькова и Векшина, а что в них — она не знала. И тревога за судьбу Уфимцева вновь овладела ею.

Время шло, а Уфимцев не появлялся.

На стенных часах пробило пять раз, когда из кабинета вышел Пронин, директор Степного колхоза. Он торопливо прошагал через приемную, и вскоре Стенникова услышала шум отъезжавшей машины.

Немного погодя в приемной появился прокурор, следом за ним Пастухов; оба молча прошли в коридор, и Стенникова предположила, что на бюро объявлен перерыв. Но вышедший вскоре озабоченный Степочкин сказал ей о другом:

— Вот, из-за недисциплинированности твоего Уфимцева сорвано заседание бюро. Перенесено на завтра, на десять часов утра... Смотри никуда не отлучайся. Утром, к полдесятому, должна быть здесь.

Стенникова вышла из парткома, постояла возле крыльца, не зная, что делать дальше. Она не могла понять, почему Уфимцев не явился на бюро?

Уже вечерело, работники районных учреждений расходились по домам, улица наполнялась голосами, гудками разъезжавшихся машин. Напротив, через площадь, яркими огнями засиял ресторан «Санара», и Стенникова подумала, не пойти ли поужинать,— она так

и не успела в обед перекусить. Но настроение было не ресторанное и она пошла на квартиру к своей приятельнице, где постоянно останавливалась.

Проходя мимо почты, не удержалась, зашла, попросила телефонистку вызвать колхоз. Но сколько та не крутила ручку, сколько не кричала в трубку: «Поляны», «Поляны»,— колхоз не отвечал.

2

Приятельницу свою, Агриппину Леопольдовну, Стенникова знала давно, с военных лет, когда та работала бухгалтером-инструктором райземотдела. Они часто встречались по работе и, несмотря на разницу в годах, крепко сдружились.

Была Агриппина Леопольдовна раньше женщиной с характером: строгой, даже властной, многие председатели колхозов, не говоря уже о счетных работниках, побаивались ее. Стенникова уважала ее за прямоту, за честность, как-то незаметно для себя привязалась к ней, в трудных случаях советовалась, считала чуть ли не родней, чем-то вроде старшей сестры...

Когда Анна Ивановна постучалась к ней, Агриппина Леопольдовна встретила ее без удивления, без обычных женских радостных ахов и охов. Открыв дверь, крепко, по-мужски, прижала к себе Стенникову, поцеловала в губы и сказала:

— Давненько не появлялась.

Это была высокая, сухопарая женщина с седыми буклями, с тонким хрящеватым носом, с усиками над верхней губой и с твердым взглядом еще не потухших глаз.

Стенникова сняла в передней пальто, запылившиеся туфли, прошла в комнату, где хозяйка уже накрывала на стол, и по-домашнему взобралась с ногами на сиреневый диванчик.

— А я только собралась чаевничать. Да самовар что-то долго не кипел, проклятый, видимо, перемену погоды чувствует.

Агриппина Леопольдовна не спеша двигалась по комнате, доставала из буфета чашки, сахарницу. Случайно взглянув на сжавшуюся в комочек безрадостную Стенникову, она спросила озабоченно:

— Что с тобой, Анна? На тебе лица нет... Может, есть хочешь?

— Хочу... Не обедала сегодня.

— Так чего же ты молчишь? Ну и ну, не ожидала от тебя!.. У меня щи сварены, сейчас разогрею.

Но дело было не в еде, хотя Стенникова действительно ощущала пустоту в желудке. У нее еще не прошло состояние тревоги после сегодняшнего дня. И хотя она чувствовала себя у Агриппины Леопольдовны как дома, беспокойство об Уфимцеве не покидало ее.

После, съев полную тарелку щей с мясом, она стала спокойнее относиться к случившемуся. Очевидно, Уфимцев застрял в дороге — поломался мотоцикл. И, возможно, пока она тут отогревалась у Агриппины Леопольдовны,

он уже добрался до Колташей с попутной машиной.

— Как там Позднин поживает? — оторвала от мыслей Агриппина Леопольдовна, подавая большую чашку с чаем.— Помню, хитрющий мужик был. Бабы его «хитрованом» прозывали. Хитрый, а беспокойный, колхозников не обижал, заботился.

— Болеет он...

— И не удивительно, что болеет. В тяжелые годы председательствовал. О здоровье тогда не думали, думали, как бы людей сохранить да план поставок выполнить. Что это я тебе рассказываю? Ты это лучше меня знаешь... А Евдокия Уфимцева какова? Жива еще?

— Жива. Но сдала, восьмой десяток идет. На партийные собрания еще ходит, а так — никуда.

— Вот был председатель! — тряхнула буклями Агриппина Леопольдовна,— Царь-баба! Ох, и любила же я ее! Любила и завидовала: несгибаемой воли была женщина. Как это у Некрасова: коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Война, в колхозе голодно и холодно, и муж погиб на фронте, а она и виду не подает, что ей трудно, невмоготу. Ни слез, ни жалоб... Наверно, были и слезы и жалобы в подушку по коротким бессонным ночам, когда люди не видели... А как сынок председательствует? В маму характером удался? Или повинность в колхозе отбывает?

В комнате было тепло, светло, мирно, лишь тонко пел самовар, расшумевшийся не

ко времени, да тукали часы на стене. Стенникова вновь вспомнила о деле Уфимцева, которое завтра должно рассматриваться на бюро и не утерпела, рассказала Агриппине Леопольдовне о своих заботах, связанных с председателем колхоза.

— То-то я смотрю, ты вроде не в себе,— выслушав ее, заключила Агриппина Леопольдовна.— А кто проверял?

— Степочкин, Василий Васильевич.

— Степочкин? Ох, не люблю я этого Степочкина! Демагог, трибунщик.

И она, со свойственной ей прямотой, стала излагать Стенниковой свое мнение о Степочкине.

Стенникова слушала ее и со многим соглашалась. Она вспомнила, какую позицию занимал Степочкин в деле Уфимцева — чисто формальную, заранее осуждающую позицию, и решила, что ей необходимо повидаться с Уфимцевым до бюро. Ей не стоило ждать утра. На часах было восемь, теперь-то уж Уфимцев в Колташах.

— Куда ты пойдешь на ночь глядя? — рассердилась вначале Агриппина Леопольдовна, когда Стенникова объявила, что ей надо сходить в партком.— А впрочем, сходи,— неожиданно согласилась она, поглядев на озабоченную приятельницу.— Я тебя понимаю...

На исходе сентябрь. Уже неделю, как с севера тянуло пронизывающим холодом, словно там, за далекими лесами и горами, выпал снег. Ночи стояли темные, прохладные, но пока без утренних заморозков. Стенникова шла поеживаясь,— холод пробирался сквозь

ее летнее пальто. Небольшие лампочки, горевшие высоко на столбах, почти не давали света, и она шла не тротуаром, а серединой улицы,— тут дорога была ровной и безопасной.

На площади у здания парткома светло, как днем, от висевших вокруг светильников. Еще не доходя до парткома, Стенникова увидела свет в кабинете Акимова и обрадовалась, что не зря шла: Уфимцев, очевидно, у секретаря.

Войдя на крыльцо, она остановилась, чтобы успокоиться немного от быстрой ходьбы,— годы все-таки сказывались, в будущем году ей стукнет пятьдесят. Ресторан «Санара» все так же горел огнями, двери открывались и закрывались, входили и выходили люди, слышалась приглушенная расстоянием музыка.

Вдруг ей показалось, что из дверей ресторана вышли Векшин и Васьков. Она не очень была уверена в этом — через площадь все же трудно различить, но на одном из них была шляпа, на другом — белая фуражка. Вышедшие взялись под руки, нетвердой походкой свернули в переулок возле ресторана и скрылись за углом.

Она не успела войти в партком, как на крыльце появился Степочкин.

— Ты чего тут? — удивился он.

— Уфимцев приехал? — вместо ответа спросила она.

Степочкин поморщился, поглядел недовольно на нее.

— Пропал твой Уфимцев. Придется ехать, разыскивать.

— Кто поедет?

— Сам поеду.

Не мог он ей сказать, что только сейчас имел неприятный разговор с Акимовым. Злой, недовольный срывом бюро, к тому же вновь разгоревшимся спором с Пастуховым, он не удержался от упреков к Степочкину, обвинив его в безответственности. «Ты же первый поддержал требование Пастухова созвать это скоропалительное бюро,— говорил Акимов.— Причем сам вызвался обеспечить явку к двум часам дня. Где же эта твоя обеспеченность? Кого не надо — пригласил, а Уфимцев где? Вдруг он и завтра не появится? Есть у тебя уверенность, что бюро и завтра не сорвется?» «Не сорвется»,— заверил его Степочкин, тут же решив ехать и разыскать Уфимцева, доставить на бюро. «Ну, смотри,— только и сказал на это Акимов.— Если подведешь, поблажек от членов бюро не жди».

— Когда поедете? — спросила Стенникова.

Степочкин помолчал, поглядел на огни ресторана.

— В пять утра... Иди спи. А в полдесятого будь, как я сказал.

Но Анне Ивановне было не до сна. В четыре часа утра она стояла у ворот парткомовского гаража. Шофер удивился столь раннему пассажиру. Но он знал Стенникову и без лишних расспросов взял в машину.

Она беспокоилась, что Степочкин может запротестовать, не согласится взять с собой. И пока ехала до его квартиры, подбирала аргументы в свою защиту. Но вышедший Сте-

почкин, увидев ее, прижавшуюся в уголке заднего сидения, лишь коротко бросил:

— Надо было раньше болеть за своего коммуниста. Теперь поздно.

3

В Большие Поляны они приехали на восходе солнца.

Всю дорогу Стенникова молчала, не обращала внимания ни на встречные машины, ни на тихие, опустевшие поля, ни на редкие деревни, выплывавшие из сумрачного рассвета, смотрела через плечо шофера, видела там узкую полоску дороги в серой пыли, и думала. Даже сонная Репьевка и захлебывающиеся в лае собаки не отвлекли ее от тревожных мыслей. Напросившись ехать со Степочкиным, она считала самым важным для себя разыскать председателя, узнать, что с ним. Она знала Уфимцева как аккуратного человека, добросовестного коммуниста, и только что-то из ряда вон выходящее могло заставить его нарушить партийную дисциплину, не явиться на бюро парткома.

Но сейчас не только это волновало ее. Вновь мучила мысль о необходимости что-то предпринять, как-то помочь Уфимцеву, а как — она не находила ответа и терзалась от своей беспомощности, от сознания того, что не занялась делом Уфимцева раньше,— тут Степочкин прав, упустила она время.

И когда встретившая их в правлении колхоза уборщица Катя сообщила, что председатель у амбаров, у нее отлегло от сердца: на-

шелся потерянный! И была так рада этому, что не обратила внимания на слова Кати о какой-то выдаче хлеба, просто эти слова не дошли до сознания, скрылись за чувством радости.

Она вышла на крыльцо правления, посмотрела вокруг — на ожившее село, на солнце, катившееся по увалу,— и к ней неожиданно пришло решение сходить к Груне. Да, именно к Груне, вот что сейчас надо! Сходить, поговорить с этой возмутительницей спокойствия, принесшей столько бед людям. Нет, не с Аней, не с Егором надо говорить, а с Груней, чтобы выяснить истину, убедиться в виновности или невиновности Уфимцева.

— Я буду у Позднина,— сказала она Степочкину, севшему в машину, чтобы ехать к амбарам.— Там вас подожду.

Во дворе Позднина ее встретила мать Груни, чем-то неуловимо похожая на дочь: может, легкой походкой, несмотря на возраст, может, лицом, сохранившим румянец, проступавший сквозь загар — Стенникова не задумывалась над этим. Мать шла из огорода, несла что-то завернутое в фартук, прижимая его к себе.

— Здравствуйте, здравствуйте, Анна Ивановна,— проговорила она певуче, отвечая на приветствие Стенниковой.— Вы к Трофиму? Спит он еще, всю ночь бухал, только к утру успокоился.

— Нет, я к Груне... к Аграфене Трофимовне. Дома она?

— Тоже еще дрыхнет. Намучилась за ночь с мешками-то... Да вы проходите в дом,

я ее разбужу, раз надо. Не велика барыня, после отоспится.

Стенникова посмотрела на закрытые ставни окон и не решилась идти в дом, беспокоить больного Трофима Михайловича. Да и вряд ли там, при свидетелях, можно вести разговор с Груней на такую щекотливую тему.

— Нет, Агафья Петровна, пусть лучше сюда выйдет,— попросила она хозяйку.— Дело у меня к ней. Так и скажите: неотложное дело.

— Сейчас пошлю,— сказала та и, согнав кур с крыльца, вошла в дом.

Стенникова огляделась, увидела под навесом табуретку и пошла туда. «Вот здесь и поговорим, никто мешать не будет»,— решила она.

Под навесом пахло стружкой, было полутемно и тихо, лишь вверху под крышей чирикали воробьи, шурша вениками. Стенникова сидела и думала, с чего начать разговор с Груней, как поделикатнее подойти к ней, чтобы та открылась,— все-таки это не простое дело, рассказать об интимной стороне своей жизни постороннему человеку. Анна Ивановна знала Груню с детских лет, знала твердый характер бывшей заведующей фермой, потому чуточку волновалась.

Груня вышла к ней заспанная, непричесанная, видимо поспешила, не стала одеваться, прихорашиваться, лишь накинула на плечи отцовскую стеганку — на дворе было свежо.

— Ты извини, пожалуйста, что разбудила, не дала тебе поспать,— попросила Анна Ива-

новна, поднимаясь ей навстречу,— но у меня такое дело... пожарное.

— Да я уже выспалась,— ответила Груня.— Ни к чему эти извинения.

Она подошла к верстаку, села на него. Стенникова пытливо посмотрела на нее, как бы стараясь заранее узнать, что ответит ей Груня, как воспримет ее расспросы, и вновь села на табуретку.

— Что я у тебя спрошу... Только ты обещай мне отвечать чистосердечно, ничего не утаивать. Поговорим как женщина с женщиной.

Груня пожала плечами, скривила рот в усмешке.

— Спрашивайте, — согласилась она. — Мне таить нечего. Я вся тут.

— Сегодня на бюро парткома должно рассматриваться дело Егора, его персональное дело. Обвиняют Егора в том, что ушел от семьи, бросил жену и детей, связался с другой женщиной.

Стенникова поймала растерянный взгляд Груни и то, как у нее медленно потянулись руки к горлу. Но она справилась с собой, отвела глаза, зябко передернула плечами, укуталась поплотнее в стеганку.

— Ну и что? — спросила она осипшим, каким-то деревянным голосом.

— Так вот эта, другая женщина, из-за которой рассыпалась семья Уфимцевых, в деле Егора названа по имени. Это ты, Груня, твое там имя.

— Господи! — Груня нервно рассмея-

лась.— Я-то причем тут? Вот уж, действительно, попали пальцем в небо!

— А ты подумай-ка над тем, как все сложилось против тебя: Егор ушел от семьи, ты тоже ушла от Васькова. Люди знали, что ты раньше дружила с Егором, значит, распад двух семей произошел не без причин. Видимо, вспомнилась старая дружба. По крайней мере там так считают,— и Стенникова показала рукой в сторону далекого районного центра.

— Глупости какие-то!—рассердилась Груня.— Егор не сам от семьи ушел, а жена выгнала, это всем в колхозе известно. А я действительно сама ушла от Васькова, но это к делу Егора не относится.

— Может, скажешь, почему ты ушла? Вроде мирно жили, не ссорились.

— А тут никакого секрета нету. Просто не захотела с ним больше жить и ушла. Опротивел он мне... Мелкий человек.

— Тогда зачем за Васькова замуж шла?

— Не за Афоню же было идти!.. Думала, привыкну. Да не получилось так, как думала... Не стоит говорить об этом, Анна Ивановна. Не стоит говорить о Васькове, его для меня нету... Был да весь вышел.

Воробьи в вениках совсем расшалились, как мальчишки в школьную перемену: они нестерпимо весело, до озорства, трещали один громче другого, словно в их семье произошло какое-то невероятно радостное событие, шебаршили вениками, ныряя в их зеленых листьях. Груня встала, взяла из кучи стружек крупную щепку, кинула ее в веники, крикнув:

«Кышь, проклятые!» Воробьишки бросились из-под навеса с таким шумом, что Груня даже перепугалась, нагнула голову, прикрыв лицо руками.

— Вот, черти! — только и сказала она, рассмеявшись.

Под навесом враз стало тихо и как-то пусто.

Из сеней появилась мать Груни с тазом в руках. Выйдя на крыльцо, она тонко и нежно запела: «куть-куть-куть», сзывая кур; куры, стуча по земле лапами, кинулись к ней со всех сторон двора. Она бросила им несколько горстей зерна, взглянула с любопытством на Стенникову, на дочь и снова ушла.

Анна Ивановна помолчала, не зная, как продолжать разговор дальше. Время шло, а еще ничего не известно, ничего не выяснено.

— Скажи, ты все еще любишь Егора? — неожиданно для себя спросила она Груню.

— Зачем это вам? — насторожилась та, вновь присаживаясь на верстак.

— Хочу правду знать о твоем отношении к нему.

Груня поколебалась — говорить или нет? — поправила на плечах сползавшую стеганку, прихватила ее у груди.

— Не надо вам этого знать, Анна Ивановна. Мало ли кто кого любит... Это дело личное.

— Ты же говорила, что таить тебе нечего, вот и скажи... Ведь ты же любишь его, я же вижу.

— Ну люблю,— повысила голос Груня,— ну мучаюсь, что из того? Кому какое дело до

меня, до моих слез? Я никого за себя страдать не заставляю...

Она отвернулась от Стенниковой, уперлась взглядом в угол навеса.

«Вот и раскрылась»,— подумала Анна Ивановна, а вслух спросила:

— А Анна Аркадьевна, жена Егора? Ее положение тебя не трогает, не беспокоит?

— Дура она, вот что! — с горечью сказала Груня, вновь повернув лицо к Стенниковой.— Дура, что поверила сплетням, поверила Васькову, этому езуиту. Васьков со злости, что я от него ушла, наплел ей черт знает чего, а она уши развесила, оконфузила Егора ни за что, ни про что.

— Значит, ничего у вас с Егором не было?

— Ничего.

— Груня, не скрывай ты от меня, пожалуйста, если что было. Я никому не скажу, но лично мне это знать необходимо. Тебе я признаюсь: не имею понятия, как держать себя на бюро в деле Егора.

— А я и не скрываю перед вами свою любовь к Егору. Только чего не было, того не было. Не по душе я теперь ему... Раньше была по душе, а теперь нет.

Груня замолчала, прикусила нижнюю губу, глаза ее округлились, налились слезами.

— А может, Егор тебя вновь поманил? Каким-нибудь словом или намеком, ты и...

— Анна Ивановна! — возмутилась Груня.— Как вы можете так думать! Разве вы не знаете Егора?.. Он не любит меня, сам говорил.

Последние слова Груня произнесла полушепотом, потупив глаза,— видимо, тяжело давалось ей это признание. Стенникова внимательно наблюдала за ней, видела ее переживания, они убеждали Анну Ивановну в честности Груни.

— Значит, все это сплетни, и твой уход от Васькова никак не связан с Егором? Не по его вине ты ушла?

— Я уже говорила,— ответила Груня глухо, провела ладошкой по щекам, стирая слезинки.— Чего еще повторять...

Она сидела теперь отчужденно, не глядя на Анну Ивановну, и, казалось, устала от расспросов, от разговора. А Стенникова наоборот, была довольна беседой, вздохнула облегченно, услышав ее последние слова, подумала о чем-то и вдруг попросила Груню:

— Может, съездишь со мной в Колташи, в партком?

— В партком? — удивилась та.— Зачем?

— Вот там и расскажешь все, что мне говорила.

Груня поднялась с верстака, отряхнула юбку от приставших стружек.

— Что вы, Анна Ивановна! Меня еще там не видели!.. Это ведь я вам только, вы же просили.

— Наказать Егора могут, все факты против него. Ты бы помогла, спасла от наказания.

— Я бы в огонь бросилась ради него,— ответила с горячностью Груня,— но кто мне там поверит? Вот вы верите мне или нет?

— Я тебе верю, Груня,— сказала Стенникова твердо, со значением, словно ставила точку на их разговоре.

За воротами требовательно засигналила машина. Стенникова подошла к Груне, поматерински обняла ее.

— Мне пора ехать, прощай,— она поцеловала ее в щеку.— Извини за вторжение, за такой вот не совсем приятный разговор. Что поделаешь, жизнь часто идет не так, как нам хотелось бы.

Груня промолчала, ничего не ответила на ее слова, на ласку.

4

Стенникова не ошиблась, признав вчера вечером в вышедших из ресторана мужчинах Векшина и Васькова.

Когда Степочкин объявил, что они могут ехать домой, Векшин вначале не поверил Степочкину: как же так? Разве не он его наставлял, как вести себя на бюро? Разве не по его указанию они с Тетеркиным собирали дополнительный материал о сожительстве Уфимцева с Дашкой? И вдруг — такой поворот! Но присмотревшись к Степочкину, к его напускной строгости, Векшин понял: дело тут не в нем, не в Степочкине, а в ком-то другом, Степочкин такого поворота им с Васьковым не сделал бы: они — главные свидетели. К тому же Васьков — сам пострадавший от охочего до чужих баб Уфимцева.

С тяжелым сердцем вышел Векшин из парткома. Раздражала мысль, что лопнуло

все, к чему он так готовился последние два месяца. Правда, в деле Уфимцева остались заявления его и Васькова, Тетеркина и Афони — Афоню, мужа Дашки, он тоже уговорил подписать заявление в партком,— но все же это не то. Другое дело, когда бы он сам присутствовал на бюро! Петр Ильич еще не потерял дара речи, сумел бы доказать членам бюро, куда ведет колхоз новый председатель и куда он приведет его.

На бюро парткома он теперь не на зерно бы напирал, не на отсутствие заботы о колхозниках,— хотя это тоже следовало сказать: недовольны люди! — а на моральное поведение председателя: бросил жену с детьми, разбил семью товарища, живет с беспутной бабенкой Дашкой, за критику — мстит людям,— живой пример с Тетеркиным. Да что об этом говорить, когда он с родным братом не посчитался из-за своего неуживчивого характера. Конечно, колхозники волнуются, подают заявления об уходе из колхоза, даже бригадир Шалашовской бригады Юшков и тот подал заявление. Какой может быть авторитет перед народом у такого председателя! Пусть члены бюро поговорят с колхозницами, узнают, как они осуждают Уфимцева за развратный образ жизни. «Бабник», «колхозный бугай»,— вот какие прозвища они дали председателю!

Петр Ильич, конечно, не оставил бы без внимания и Стенникову. Известно, что Стенникова потворствует Уфимцеву, скрывает его проступки из-за подхалимства. Такая канцелярская крыса не может быть секретарем кол-

хозной партийной организации,— что она видит из окна своей бухгалтерии? Забор да правленческий нужник!

Все дрожало у Векшина внутри от негодования, даже пальцы рук тряслись, когда он подносил к лицу, чтобы поправить усы, лезшие в рот. Спускаясь с крыльца, он ненароком посмотрел на ресторан и с раздражением вспомнил, что из-за этого проклятого дела еще ничего не ел с утра.

— Пойдем, пожуем чего-нибудь. Погреемся,— предложил он молчавшему Васькову.

Большой квадратный зал ресторана в эту пору был пуст. Лишь сидели поодиночке человек пять посетителей, тянули пиво из кружек, да стояла у буфетной стойки кудрявая официантка в белом чепце и белом фартучке, что-то оживленно рассказывала дебелой, белолицей буфетчице.

Векшин и Васьков долго рассматривали меню, потом ждали официантку, пока она не кончила своего рассказа буфетчице, а после, заказав обед и графинчик водки, долго ждали того и другого.

Васьков сходил к буфету, принес две кружки пива. Векшину не хотелось пить, он сделал пару глотков и отставил кружку, откинулся на спинку стула, посмотрел с неприязнью на Васькова, на то, как тот, насыпав на ободок кружки соли, медленно и долго тянул пиво, не отрываясь, пока не опорожнил всю кружку, а потом, сладко выдохнув, обтер губы горсткой, блаженно улыбнулся.

— Хорошо пивцо! К нам в Репьевку ред-

ко такого привозят,— сказал он, не замечая недовольного лица Петра Ильича.

А Векшин, глядя на Васькова, думал о нем, какой он легкий, беспринципный человек: вот выгнали их из парткома, а он — ни слова, выпил пива — и совсем успокоился, будто не у него увели жену, не его обесчестили. Петр Ильич хотел сказать ему все это — сказать резко, напрямик, чтобы не забывался, чтобы враз пропал у того аппетит и запылала злость на своих обидчиков, но в это время официантка принесла заказанный обед. Они выпили молча и принялись за еду.

Когда голод был утолен, Векшин немножко обмяк, ослабел, у него прошла неприязнь к Васькову, он допил пиво и благосклонно посмотрел на своего компаньона, догрызавшего куриную косточку.

— Любопытно мне, что сейчас на бюро?— подумал он вслух.— Дорого бы дал, посмотреть одним глазком...

— Известно что, снимают стружку с вашего Уфимцева,— ответил Васьков. Он уже захмелел от выпитой водки, говорил нетвердо,— заплетался язык.

— С него не стружку сымать надо, а шкуру драть,— поправил Векшин.

— Верно, верно, Петр Ильич,— закивал головой Васьков.— Я бы на ихнем месте его несоленого, с потрохами... вот так! — И он, громко хрустнув косточкой, стал ее смачно жевать, блаженно глядя на Векшина сквозь свои детские очки.

— Ладно тебе,— снисходительно заметил Векшин, словно не пожелал, чтобы члены бю-

ро так же изжевали Уфимцева.— Лучше скажи, чем, по-твоему, кончится бюро?

— Как чем? Снимут Уфимцева с должности... Исключат из партии!

— Ну уж, хватил! — засмеялся довольный Векшин и потрогал себя за бородку, потрепал ее ласково.

— А вот, посмотрим,— с пьяным упрямством боднул головой Васьков.— Не отвертится... Матерьяльчик на него железный.

— Если твои слова оправдаются, я тебе бутылку... нет, две поставлю,— расщедрился Векшин, представивший как исключают Уфимцева из партии, как вышибают с треском с должности председателя.— Две бутылки «Столичной!»

— Ставь одну сейчас... авансом. Ставь, не прогадаешь, я тебе еще не то скажу.

— Скажи сперва,— полюбопытствовал Векшин.

— Ставь! — крикнул Васьков и стукнул пустой кружкой по столу.

Векшин подозвал официантку, заказал еще графинчик водки.

Посетителей в ресторане становилось все больше и больше, появилась вторая официантка — худая, длинная и огненно-рыжая, заиграла музыка — за буфетной стойкой включили магнитофон, и на душе Векшина совсем стало тепло от музыки, от выпитой водки, от слов Васькова.

— Ну говори,— не терпелось ему услышать что-то еще, обещанное Васьковым.

— Теперь скажу. Ты будешь председателем колхоза!

Векшин просиял, приосанился.

— Думаешь, больше некому? — спросил он для чего-то, хотя был убежден, что кроме него нет в колхозе подходящей кандидатуры.

— Некому! — твердо ответил Васьков и даже пристукнул ребром ладони по столу.— Ты один... Вот помяни меня...

Он хотел еще что-то сказать, но принесенный официанткой графинчик отвлек его.

— Давай лучше выпьем, обмоем нового председателя! — сказал он, наполняя стопки.

Они чокнулись, выпили. Закусить было нечем, и Васьков опять пососал куриную косточку, а Векшин отломил кусочек хлеба, помазал его горчицей и долго, морщась, жевал.

Потом стали обсуждать, кого следует оставить, а кого убрать из правления колхоза. Сошлись на том, что Попова надо оставить, без агронома сейчас нельзя, но предварительно поговорить с ним как следует, чтобы не забывался, не лез, куда не просят, знал горшок свой шесток. А вот Стенникову — ту немедленно снять с должности, еще лучше — совсем убрать из колхоза, пусть едет в свой Ленинград.

— А тебя — бухгалтером,— распорядился Векшин.

— Я могу... могу. Я все могу! — ответил Васьков. Он уже был совсем пьян, навалился грудью на стол, помотывал рыжей головой, тяжело ворочал языком.

А Векшин пил и не пьянел. Казалось, скорая перспектива стать председателем колхоза влила в него силы, он весело, торжествующе позыркивал по сторонам, смотрел снисходи-

тельно на ресторанную публику, поглаживал свою бородку.

Он явственно представил себе поверженного Уфимцева, убитого завистью к новому председателю, видел, как он, осмеянный колхозниками и собственной женой, уходит пешком — да, да, именно пешком! — из села неизвестно куда. Или ту же Стенникову, как она с большим чемоданом будет бегать по селу, искать попутную машину... Нет, лучше всего, если вначале будет просить его оставить ее в колхозе, будет ходить за ним, унижаться, клянчить. А он бы тянул с ответом,— пусть люди смотрят на эту гордячку, бывшую колхозную командиршу, а потом, натешившись вдоволь, категорически бы отказал.

Кто еще? Да, вот кого он чуть не позабыл: любушку председателя, Груньку Васькову. Эту надо приструнить, к рукам прибрать, иначе мешать будет, мстить за Уфимцева.

Он посмотрел на Васькова, пытавшегося закурить, чиркавшего спичками; спички ломались, тухли, да и папироска у него была мятая, изжеванная, чуть торчавшая изо рта. Векшин недовольно поморщился: «Слабак! Такому не водку — квас пить».

— Слушай,— он придвинулся поближе к Васькову, тронул его за плечо.— Бывшая-то твоя жена... Ты рано ей простил, рано успокоился.

Васьков поднял голову, что-то осмысленное блеснуло в его глазах.

— Не простил... не успокоился. И никогда не прощу.

Он помотал головой и вновь уронил ее, за-

жал в ладонях. Векшин презрительно усмехнулся:

— Тебе надо девочку у нее отобрать. Дочку свою. Понял? Твоя бывшая жена — баба распутного поведения, ей доверять воспитывать нельзя. Нужно в суд подать... Свидетели найдутся.

Васьков выплюнул потухшую папироску в тарелку, провел по лицу растопыренной пятерней.

— И подам! — крикнул он так громко, что сидящие за соседними столиками оглянулись на него.— И отберу!.. Она вот где у меня будет сидеть,— и он показал Векшину сжатый кулак, выпачканный в горчице.— Таких сук, таких...

И он, омерзительно выругавшись, так стукнул кулаком по столу, что подпрыгнули тарелки.

— Гражданин, здесь выражаться нельзя,— подскочила к столу кудрявая официантка.

Васьков посмотрел на нее, долго вглядывался, покачивался на стуле, потом сказал:

— Ладно, не буду. Ты нам водочки еще... графинчик.

— Водочки вам больше нельзя,— ответила официантка, собирая посуду.

— Ну этого... пива. Безал... безал... когольного напитку,— с трудом выговорил Васьков.

— Хватит, и так за столом едва сидишь. Домой пора идти. Бай-бай,— говорила словоохотливая официантка.

— А вы с ним полегче,— заступился за

Васькова Векшин.— Горе у него... Жена ушла и ребенка увела.

— Да. Горе у меня,— стукнул себя в грудь Васьков и заплакал.— Могу я с горя выпить, али не могу? Душу отвести...

Он плакал, размазывая ладонями слезы по щекам. Посетители ресторана насмешливо смотрели на него, на цыганистого Векшина, пытающегося успокоить Васькова.

— Ну, распустил нюни, как баба! — сказала брезгливо официантка, унося поднос с посудой.

Векшин, недовольный Васьковым, испортившим такой хороший вечер, помог ему подняться, подхватил и повел к выходу.

5

Члены бюро парткома вновь собрались, как и было намечено, к десяти часам утра. Не явился только Пронин, уехавший вчера к себе в совхоз.

Виновник события, оторвавший от дел ответственных работников района, Егор Уфимцев сидел уже в приемной. Он в новом костюме, белая рубашка повязана галстуком, но и пиджак, и брюки, и черный галстук были помяты,— видимо, ночная возня с мешками не пощадила его костюма, а переодеться не было времени: Степочкин торопил. Кто-то из женщин, бывших на току, почистил голичком пиджак председателя, повыбивал пыль,— этим все и ограничилось. Уфимцев даже позавтракать не успел, и он сидел сейчас голод-

ный, невыспавшийся и, кажется, безразличный ко всему, что тут происходило, словно все это — и приход членов бюро, и деловая беготня работников аппарата парткома — касалось не его, а кого-то другого, а он тут лишь случайный человек, приехавший отбывать какую-то неприятную, но необходимую повинность.

Стенникова с тревогой наблюдала за Уфимцевым, видела его вялым, равнодушным и удивлялась: перед ней был другой Уфимцев, не тот, которого она знала. Ей так и не удалось дорогой поговорить с ним — мешало присутствие Степочкина. И сейчас, глядя на Уфимцева, ей хотелось взбодрить его, вызвать к жизни, заставить взглянуть со всей серьезностью на предстоящее обсуждение его дела, но подходящего момента для этого не представлялось,— в приемной все время находились люди.

Проходившие через приемную члены бюро настороженно посматривали на председателя колхоза, молча кивали Стенниковой и уходили. Лишь Торопов, председатель райисполкома, задержался. Увидев Уфимцева, он весело крикнул:

— А-а, появился, пропащая душа! Теперь держись, дадим тебе прикурить.

— А я некурящий,— попытался отшутиться Уфимцев, вставая и подавая ему руку.

— Ничего, мы научим. Для того и щука в море... Так ведь, Анна Ивановна?

Стенникова зарделась, как девушка,— велико было желание поговорить с Тороповым,

пользуясь его очевидной благосклонностью к Уфимцеву.

— Михаил Иванович, есть и другая пословица: не мудрено голову срубить, мудрено приставить. А рубить — так было бы за что!

Торопов засмеялся, погрозил ей пальцем:

— Ох, и адвокат вы, я посмотрю! А все же о щуке вам забывать нельзя. И о карасях, которые дремлют.

— На Руси не все караси — есть и ерши,— опять пословицей ответила Стенникова.

— Вот и посмотрим, кто вы, ерши или караси,— сказал, посмеиваясь, Торопов, уходя в кабинет секретаря парткома.

Вскоре вызвали и их.

Войдя, Уфимцев окинул взглядом членов бюро, сидевших за столом, предназначенным для заседаний, застыл на миг в нерешительности, поглядел выжидательно на Акимова.

— Садись! — Акимов кивнул головой на конец стола.— Забыл, куда садятся люди твоего положения?

— Не приходилось,— ответил улыбаясь Уфимцев.— Первый раз в жизни.

Он сел, покорно опустил руки на колени. Стенникова уселась за его спиной, у стены. Акимов посмотрел на них, сдвинув брови, постучал карандашом по настольному стеклу, хотя никто не нарушал порядка. Все молчали.

— Сначала расскажи, товарищ Уфимцев, почему не явился вчера на бюро? Может, вызова не получил?

Члены бюро уставились на Уфимцева; он неторопливо встал.

— Некогда ему было,— поспешил за Уфимцева ответить Степочкин,— зерно колхозникам раздавал.

— Какое зерно? — спросил Акимов.

— Разное. И пшеницу, и овес... Перепугался, что заставят сдавать зерно государству, вот и... Всю ночь по домам развозили, в амбарах подчистую замели. Говорят, сам у весов стоял; даже мешки таскал, торопился до утра управиться.

— А я что говорил? — возбужденно, овущимся от нетерпения голосом произнес Пастухов, поднимаясь за столом.— Говорил, что Уфимцев — человек политически незрелый, что он в своей работе противопоставляет колхоз государству. Кое-кто из членов бюро оспаривал это,— и он покосился на Торопова,— но, думаю, настоящий случай заставит их переменить свое мнение, отнестись по-партийному к антигосударственным поступкам коммуниста Уфимцева.

Пастухов сел, победно посмотрев на Акимова, ошарашенного новостью.

— Это правда, что ты хлеб раздавал? — спросил Акимов, еще сомневающийся в достоверности услышанного.

— Не раздавал, а выдал на трудодни заработанное колхозниками,— ответил Уфимцев.

До Стенниковой только сейчас дошел смысл слов, сказанных уборщицей Катей: хлеб выдает. «Зачем это он? Что с ним случилось? Этим он только положение свое ос-

ложнил». Она посмотрела ему в давно нестриженный затылок, сжалась от предчувствия нависшей над Уфимцевым беды.

— Значит, правда! — убедился Акимов. Он обвел глазами членов бюро — хмурого Торопова, замкнутого, непроницаемого прокурора, недоумевающего Игишева, весело косящего глазами Пастухова, улыбающегося Степочкина.— И вновь постучал карандашом по стеклу.

— Садись, Уфимцев... Вношу предложение: за нарушение партийной дисциплины — неявку на бюро парткома, за преждевременную выдачу зерна колхозникам до годового отчетного собрания, председателю колхоза «Большие Поляны» Уфимцеву объявить выговор с занесением в учетную карточку. Какие будут мнения у членов бюро?

— Считаю,— опять поднялся Пастухов, не спрашивая разрешения Акимова,— считаю, что формулировка проступка Уфимцева, предложенная товарищем Акимовым, крайне расплывчата, а по существу неверна и потому вредна! Она смазывает существо вопроса, укрывает Уфимцева от заслуженного наказания. Его вина не в преждевременной выдаче зерна, а в разбазаривании его с целью уклониться от участия в выполнении районного плана хлебозаготовок. Короче говоря — я вновь это повторяю,— в противопоставлении интересов своих колхозников интересам нашего государства.

Акимов подвигал скулами, собираясь с мыслями, чтобы ответить Пастухову, но поднял руку Торопов.

— Конечно,— сказал Торопов,— неявка на бюро — недопустимое явление, и за это надо наказать Уфимцева. В этом я поддерживаю предложение Николая Петровича. Я — за выговор, но без занесения в учетную карточку, для коммуниста и простой выговор уже большое наказание. А за раздачу зерна колхозникам я предлагаю объявить выговор начальнику производственного управления Пастухову, толкнувшего своими неразумными действиями Уфимцева на это.

Степочкин захохотал, замотал головой, удивляясь, какую чушь несет председатель райсовета. Но Пастухов понял выступление Торопова иначе — он не забыл вчерашней полемики на бюро.

— Выходит, это я у весов стоял, а не Уфимцев? — спросил он с иронией, глядя на Торопова исподлобья.— Хватит, я уже наслушался вчера твоих измышлений. Надо все же отдавать себе отчет в том, что говоришь.

— Хорошо, ты у весов не стоял,— не сдавался Торопов,— но ты же был в колхозе позавчера, настаивал на сдаче зерна государству, несмотря на то, что колхоз выполнил и план, и сверхплановое обязательство?

— Да, был. И рекомендовал им сдать дополнительно пять тысяч пудов,— это мое право, как руководителя сельского хозяйства района,— проговорил Пастухов.— Я беспокоюсь за план заготовок района, а тебе, я вижу, это безразлично. Оно и понятно: с тебя спросу за план нет.

— Подожди, Семен Поликарпович,— вмешался в перебранку начальства Игишев,— не

прячься за план района. Торопов-то ведь прав. Если бы ты сделал только рекомендацию, а ведь ты потащил Уфимцева на бюро, угрожая взять силой то, чего он не хотел отдать добровольно. Уфимцев не мог предугадать, как посмотрит на это дело бюро, притом, видимо, вспомнил практику некоторых руководителей в недалеком прошлом, когда семена забирали, чтобы только выполнить план по району, а потом, по весне, просили у государства ссуду, завозили семена черт знает откуда! И он, естественно, не желая остаться в дураках перед колхозниками, выдал, что им причиталось по трудодням.

— Товарищи, давайте не спорить, поберегите нервы,— попросил Акимов.— К вопросу о хлебосдаче в районе мы еще вернемся, он у нас в повестке дня. А сейчас вопрос об Уфимцеве, о его недисциплинированности... Слово имеет товарищ Селезнев,— закончил он, увидев поднятую руку прокурора.

— Причина неявки Уфимцева на бюро, на мой взгляд, выяснена,— сказал прокурор.— Мне думается, теперь партийному бюро следует рассмотреть его персональное дело, и вопрос о наказании решить потом, по совокупности проступков.

— Вот что значит юрист! — рассмеялся Игишев.

— Докладывай,— приказал Акимов Степочкину.

Степочкин не заставил себя ждать. Раскрыв лежавшую перед ним папку, он, с видимым удовольствием, смакуя каждую фразу,

стал читать письма, заявления, справки, которыми она была набита.

Только теперь перед Уфимцевым раскрылось во всей наготе подготовленное на него нападение, о котором предупреждал Акимов, приезжавший мирить их с Аней. Его не удивило заявление Васькова, человека, обиженного уходом жены, но письма Тетеркина и пространное заявление Векшина, где они собрали все были и небылицы на председателя, поразили его не только своей несправедливостью, а какой-то сатанинской злобой. И по мере чтения Степочкиным этой писанины, Уфимцев наливался гневом, как бочажок водой в половодье, и уже готов был выплеснуть свой гнев на членов бюро, спокойно слушавших эту галиматью, вскочить, закричать: «Что вы делаете? Опомнитесь! Разве не видите, что стяжатели, пользуясь попустительством Степочкина, вырвались на простор нашей демократии, пролезли сюда, в кабинет парткома, ищут поддержки у вас — ревнителей колхозного благополучия, чтобы захватить власть в Полянах?!» В эту минуту ему не себя было жалко, не должности председателя, страшно было за колхоз, за его будущее, если к руководству примажутся люди типа Векшина или Тетеркина.

Очевидно, Акимов заметил состояние Уфимцева, а может быть, ему тоже оказалось не по душе это художественное чтение Степочкина.

— Хватит! — остановил он его.— Думаю, члены бюро уловили суть дела... Давайте послушаем Уфимцева.

Уфимцев стремительно встал, чуть не опрокинув взвизгнувший под ним стул. Не спуская глаз с злополучной папки Степочкина, он пошарил рукой за спиною, ища стул, и, не найдя его, переступил ногами, как лошадь, трогавшая с места тяжелый воз, и сказал, задыхаясь от гнева:

— Все, что тут читал Степочкин — клевета! И его справка — ложь от начала до конца!

— Где же ложь? — возмутился Степочкин и посмотрел на Акимова, словно боялся, что тот поверит Уфимцеву.— С женой ты не живешь, живешь у Дашки, это всем известно, это и отражено в справке. Васькова ушла от мужа — это тоже всем известно, и что ты встречаешься с ней — тому есть свидетели,— вот и это отражено в справке. Где же ты нашел ложь?

— Ты сам ложь! — не сдержался Уфимцев.— Крючок! Почему ты ни разу не поговорил со мной, когда приезжал на проверку? С Васьковым ты говорил, а почему не поговорил с его женой? Или с той же Дашкой, которую ты приплел ко мне? Афоню легко обмануть, он за конфетку что угодно подпишет,— смертный приговор себе, не только это.

Степочкин пожал обиженно плечами, опять посмотрел на Акимова, теперь уже ища защиты. Акимов постучал карандашом по столу.

— Уфимцев, веди себя как подобает на бюро, давай без оскорблений.

— А ему оскорблять меня можно? — вскричал Уфимцев.— Собирать в колхозе сплетни, подбивать людей против председателя, это ему можно? Партийный работник!

Он хоть бы с коммунистами колхоза поговорил...

— Я говорил с коммунистами! — перебил Степочкин Уфимцева.— Со Стенниковой, с Векшиным.

— Векшину верить нельзя,— сказал Торопов.— Это — отсталый человек... Демагог к тому же!

Акимов опять постучал карандашом.

— Товарищ Стенникова, когда Степочкин был в колхозе, он говорил с вами о деле Уфимцева?

Стенникова, довольная поведением Уфимцева, тем, что он наконец расшевелился после непонятного ей оцепенения, поднялась, приготовилась отвечать на вопрос Акимова, но ее опередил Пастухов.

— Не понимаю,— сказал он, разводя руками,— мы обсуждаем Уфимцева или Степочкина? Проверяемого или проверяющего? Надо руководить заседанием, товарищ Акимов, вести бюро как положено, а не увлекаться эмоциями.

Акимов поглядел на него, но ничего не ответил, будто не слышал упрека.

— Слово предоставляется секретарю колхозной парторганизации Стенниковой,— объявил он.

— Василий Васильевич, когда был у нас, говорил со мной, показывал анонимное письмо о связи Уфимцева с заведующей фермой Груней Васьковой. Я ему тогда же сказала, что это сплетни людей, недовольных Уфимцевым, недовольных порядками, которые он вводил в колхозе. Уфимцев вырос в селе, все знали,

парнем он дружил с Груней. А тут жена уехала к матери погостить, вскоре Груня ушла от мужа, вот и пустили сплетню. Я считала, что Василий Васильевич ограничится разговором со мной, не будет принимать во внимание анонимку, а он, как после выяснилось, провел целое следствие.

— Не следствие, а проверку,— поправил ее Степочкин.

— Пусть проверку... После этого я ждала, что материалы проверки передадут в колхозную парторганизацию для обсуждения,— коммунисты колхоза быстро бы разобрались, где правда, а где ложь. Но, к сожалению, даже меня не познакомили с материалами, я сегодня впервые услышала всю эту стряпню — иначе я ее не могу назвать.

— Разве дело Уфимцева не рассматривалось в колхозе? — переспросил прокурор.

— Я просила об этом Василия Васильевича, а он отказал,— ответила Стенникова.

— Колхозной парторганизации доверить это дело было нельзя,— сказал запальчиво Степочкин.— Там много либералов, и первая из них — Стенникова. Кроме того, кое-кто просто побоялся бы выступить против Уфимцева, они еще не забыли о судьбе Тетеркина.

— Все же надо было вначале обсудить с коммунистами колхоза,— не согласился прокурор.

Акимов слушал этот разговор и чувствовал, как у него краснеют уши. Если кто либерал, так это он: тянул с делом Уфимцева, все ждал его примирения с женой. А в последнюю минуту пошел на поводу у Степочкина и Пас-

тухова, побоялся обвинения в потворничестве.

Он подвигал бровями, посмотрел на угрюмого, все еще стоявшего Уфимцева, и сказал:

— Садись, не стой столбом... Продолжайте, Анна Ивановна.

— Товарищ Степочкин собирал заявления не у либералов,— голос Стенниковой дрожал от обиды.— Он их собирал у верных людей, у Векшина и Тетеркина. Кто такой Векшин, товарищ Торопов уже говорил, его оценка очень верная. А Тетеркин...

И она подробно рассказала членам бюро о Тетеркине, начиная с того времени, когда он был председателем колхоза, как он ушел в лесничество, и как потом, подло посмеиваясь над колхозниками, говорил им: «Дураков работа любит!» Как в этом году попался на краже зерна, работая на комбайне.

— Мне об этом рассказал агроном Попов, секретарь нашей комсомольской организации. Следовало отдать Тетеркина под суд, а Уфимцев пожалел, лишь снял с комбайна... Вот какие люди подавали заявления, собирали сплетни об Уфимцеве, писали в партком анонимки.

— Одну минутку,— перебил Стенникову Игишев.— Предположим, что мы согласились с вами, поверили, что эти люди — прохвосты, как выразился Михаил Иванович. Но ведь в данном случае они сообщали о действительных фактах: Уфимцев ушел от семьи, врозь живет.

— Да, это правда,— ответила Стенникова,— они с женой живут порознь. Но причи-

на тут не в Уфимцеве, а в его жене, хотя я ее особенно и не обвиняю. Женщину сбить с толку не так уж трудно, если посылать ей анонимные записки, письма о неверности мужа. Жена Уфимцева не могла не знать о прежних отношениях мужа с Груней — досужие кумушки, конечно, не утерпели, рассказали об этом, может, еще приукрасили, а тут появились такие письменные свидетельства. Вот и поверила.

— Ловко ты подвела! — крикнул Степочкин, завозившись беспокойно на стуле.— У меня же документы. Вот они! — и он шлепнул ладонью по папке.

—-Да-а,— протянул Игишев, не обращая внимания на вспышку Степочкина.— А все же что-то, видимо, было между Уфимцевым и Васьковой. Как говорят, нет дыму без огня. Почему-то она ушла от мужа, вернулась в Поляны?

— Вернулась она к отцу, другого местожительства у нее нет... Я только сегодня говорила с Груней. Да, да, сегодня, перед бюро,— подтвердила Стенникова, поймав удивленный взгляд Степочкина.— Из разговора с ней я убедилась, она честный, благородный человек, и никакого отношения к ссоре Уфимцева с женой не имеет. Ее уход от мужа вызван другими обстоятельствами и просто совпал по времени, когда Уфимцев жил один, без жены. Это и дало повод клеветникам оболгать этих двух порядочных людей.

— Порядочных? — не удержался Пастухов. Он видел, что спокойный тон, убедительные доводы Стенниковой создают благоприят-

ное впечатление у членов бюро об Уфимцеве.— Одного порядочного жена из дому выгнала за блуд, другая порядочная... сама убежала от мужа к любовнику. Прав товарищ Степочкин, этого дела нельзя было рассматривать в колхозе. Убедительный пример тому — выступление Стенниковой, выгораживание Уфимцева, виновника разрушения двух семей.

При последних словах Пастухова Уфимцев вновь вскочил, готовый схватиться с ним, но Акимов жестом посадил его на место.

— Повторяю, Груня убежала не к любовнику, а к отцу,— ответила Стенникова, поглядывая теперь уже с опаской на нервничающего Уфимцева.— Расходятся с мужьями не только потому, что полюбили другого, причин много. Но в данном случае, как говорят, была без радости любовь, разлука вышла без печали... Вот все вы тут мужчины, люди сравнительно пожилые, и женились надо полагать в свое время, молодыми парнями, и не было у вас при этом ничего, кроме радости совместной жизни с любимым человеком. И, конечно, вам трудно поверить, какие муки испытывает девушка, которая по своей природе — чего тут скрывать! — хочет быть женой, хочет быть матерью, но там, где она живет, не то что по душе, совсем нет женихов, а ведь так было после войны в колхозах. И вот перед ней страшная перспектива остаться в старых девах, так и не испытав семейного счастья. И она или уезжает куда глаза глядят, или выходит замуж за первого подвернувшегося человека, живет с ним какое-то время, и в

конце концов убеждается, что ошиблась, что лучше было жить одной, чем с ним... Вот так было и с Груней. И я ее нисколько за это не осуждаю. Не вините и вы ее, товарищи члены бюро.

Стенникова замолчала, подождала, что скажут, как отнесутся к ее словам присутствующие, и, не дождавшись, села. Члены бюро безмолствовали, никто не хотел говорить первым после Стенниковой; видимо, было в ее словах нечто такое, что разрушало их представление о Груне. Так бывает иногда: скажем, живет недалеко от тебя человек, наверное, где-то служит — видишь ты его часто то с папкой под мышкой, то с продуктовой сумкой, живет, как все, и ничего в нем нет такого, что выделяло бы его среди других; и одевается он просто, даже бедно, и пьяненьким его в праздники видят, и даже, по словам соседей, он с кем-то однажды поругался, пошумел, и у тебя складывается о нем отвратное мнение, как о человеке, недостойном внимания. И вдруг однажды узнаешь, что в свое время это был лихой партизанский вожак, при имени которого дрожали немецкие комендатуры. Или что он, рискуя жизнью, подвергая себя смертельной опасности, предотвратил аварию на заводе, грозившую гибелью десяткам людей, и теперь — инвалид, пенсионер, постоянный председатель товарищеского суда домоуправления. Да мало ли в жизни подобных случаев! Так и здесь: члены бюро, прослушав заявления и справку Степочкина, составили себе мнение о Груне, как о распутной женщине, разбившей семью пред-

седателя колхоза. А на поверку выходило, что она заслуживает не осуждения, а сочувствия за ее неудачно сложившуюся жизнь.

— Я все же предлагаю,— прервал молчание прокурор, отрывая глаза от стола,— материал по делу Уфимцева направить в первичную партийную организацию, пусть вначале там разберутся. Может, не потребуется и на бюро парткома выносить... Во всяком случае, у меня лично вызывают серьезные сомнения документы, собранные товарищем Степочкиным, а также его выводы, изложенные в справке. Они однобоки, бездоказательны и противоречат принятому в партийных органах порядку расследования...

Степочкин так и не дал прокурору закончить свою мысль: он вскочил, стал нервно говорить, что прокурор Селезнев — известный перестраховщик, что ему пора на пенсию, надо дать дорогу молодым, и ему пора это понять. Тут уж не удержался и Торопов, он тоже в повышенном тоне потребовал от членов бюро, если не наказать, то по меньшей мере указать Степочкину на его безответственное отношение к делу Уфимцева, на то, что он пошел на поводу у стяжателей и сплетников, помогал им оклеветать честного человека. Потом Игишев, взявший слово, поддержал прокурора; он считал, что не верить секретарю колхозной парторганизации у него оснований нет,— до сих пор Стенникова слыла правдивым и самостоятельным человеком, не раз избиралась членом райкома. Естественно, что после Торопова и Игишева не мог не выступить Пастухов. В пространной речи он вновь доказывал,

что Уфимцев — случайный человек как председатель колхоза, и что ему нельзя дальше доверять колхоз и по деловым и по моральным качествам. Он договорился даже до того, что Уфимцев не может оставаться в партии уже по одному тому, что сопротивлялся сдаче зерна государству. Во время речи Пастухова Уфимцев не раз пытался перебить его, но Акимов не давал, останавливал, сердито грозил пальцем.

Когда выговорились все, заметно обессилев от споров, от взаимных упреков, и страсти стали постепенно утихать, Акимов встал.

— Материал возвращать в колхоз надобности нет,— начал он,— картина всей этой стряпни, как правильно назвала ее Анна Ивановна, ясна и понятна непредубежденному человеку: жулики и стяжатели пытались опорочить председателя колхоза. Тут Василий Васильевич,— и он, поморщившись, словно глотал горькую пилюлю, сказал не то, что следовало сказать,— тут Василий Васильевич был, очевидно, обманут, введен в заблуждение этими людьми... Я не преувеличу, если скажу, весь партийный актив района знает Уфимцева как человека порядочного и энергичного. Никто не сможет отрицать того очевидного факта, что за последний год положение в колхозе «Большие Поляны» изменилось, резко пошло к улучшению, и в этом заслуга его нового председателя. И сплетня, поднятая вокруг Уфимцева в связи с неполадками в его семейной жизни, не заслуживает того, чтобы ею еще раз заниматься парткому. Я давно и близко знаю жену Уфимцева: это хорошая,

умная женщина, но, как говорят, немножко нервная; у нее свои, более строгие взгляды на вещи, и тут Анна Ивановна права: сплетники оказались сильнее ее веры в непогрешимость мужа. Что же тут удивительного, если эти сплетники,— и он опять поморщился, посмотрев на Степочкина,— убедили даже такого осторожного человека, как Василий Васильевич.

Степочкин во время речи Акимова сидел, как завороженный, не шевелясь, не поднимая глаз от папки, видимо не понимая еще толком, осуждает его секретарь или защищает.

— Считаю,— продолжал Акимов,— вернее, вношу предложение: ограничиться сегодняшним обсуждением персонального дела Уфимцева,— оно безусловно пойдет ему, да и не только ему, на пользу, и предложить Уфимцеву как можно скорее наладить отношения с женой. Надеюсь, что Анна Ивановна поможет ему, как помогла нам сегодня разобраться в этом кляузном вопросе... Какие еще будут предложения?

— Я не согласен,— поднялся Пастухов.— Я в корне не согласен с такой оценкой доказанного документами, специальной проверкой аморального поведения коммуниста Уфимцева. Причем что удивительно: такую оценку дает секретарь парткома, обязанный быть непреклонным и бдительным к подобным случаям со стороны отдельных коммунистов, позорящих нашу партию. Я уже не говорю о грубом нарушении Уфимцевым партийной дисциплины — его неявки на бюро, о разбазаривании зерна...

— Так это ты его напугал, толкнул раздать зерно колхозникам! — напомнил Пастухову Торопов и, обратясь к Акимову, сказал: — Не понимаю, зачем в ступе воду толочь! Поговорили и хватит, давайте принимать решение.

Пастухов не успел ответить ему, Акимов опередил его:

— А Уфимцеву, за неявку на бюро, за преждевременную выдачу зерна, за испуг, как выразился Михаил Иванович, есть предложение: объявить выговор. Чтобы впредь не пугался, смелее был!.. Кто за эти предложения, прошу поднять руки.

Пастухов, увидев голосующих Торопова, Игишева и прокурора, молча, не скрывая своего гнева, опустился на стул. Степочкин, попрежнему не поднимая глаз, укладывал бумаги в папку, старательно увязывал ее тесемочками.

6

Когда за Уфимцевым и Стенниковой закрылись двери кабинета, Акимов сказал, обращаясь к членам бюро:

— Вот теперь поговорим и о хлебосдаче. Перерыв делать не будем, времени у нас в обрез... Можете курить.

И он первым закурил. Закурили и члены бюро, кроме прокурора и председателя райисполкома. Некурящий Торопов повернулся к окну, открыл его створки — свежий воздух потянул в кабинет, погнал табачный дым в форточку над головой Акимова.

— У нас осталось не так уж много, чтобы выполнить план,— начал Акимов и жестко потер ладонью бритую голову, словно хотел приглушить, пригладить рвущиеся наружу мысли, подготовить себя к спокойному разговору.— И как ни трудно, но я надеюсь, план мы выполним, наши возможности не все исчерпаны. Правда, совхозы вряд ли чем могут помочь, хотя Пронин и обещал поскрести у себя. Значит, остаются колхозы, особенно по Санарской зоне. Одни из них не выполнили своих обязательств, другие остались должны по государственному плану. Кое-где есть небольшие излишки зерна и у колхозов, выполнивших все свои обязательства перед государством. Считаю, что членам бюро следует сегодня же разделиться и проехать по колхозам, посмотреть наличие зерна, посчитать вместе с правлениями их потребности и возможности. Но только делать это надо умело, по-партийному, а не наскоком, не так, как практиковал это товарищ Пастухов при последней поездке по району.

— Ты, конечно, намекаешь на бедненького Уфимцева, обиженного мной и обласканного тобой? — съязвил Пастухов.

— Да, и Уфимцева,— ответил Акимов, не обращая внимания на тон Пастухова. Он затянулся папиросой, потом потушил ее, вдавив в пепельницу, чтобы не мешала разговору.— Если к Уфимцеву подойти бы по-товарищески, нет, просто по-человечески, рассказать ему о положении в районе, создавшемся в связи с ненастьем при уборке, я думаю, что он, может, пожался бы немного, поежился, но дал

бы зерна — пусть не пять тысяч пудов, пусть одну, две тысячи, и то хорошая помощь районному плану... Но дело не только в твоем поступке с Уфимцевым, товарищ Пастухов, я вот прошу членов бюро послушать, что пишет в партком правление колхоза «Рассвет», где ты тоже побывал.

И он стал читать письмо из колхоза. В нем рассказывалось, как по требованию Пастухова в госпоставки было сдано не только зерно, предназначенное на выдачу колхозникам, но частью и семенное зерно. Когда председатель колхоза — человек еще «не обстрелянный», лишь не так давно ведавший делами местного сельпо, попробовал возражать, Пастухов поднес к его лицу скрещенные пальцы своих рук, напоминающие тюремную решетку, и спросил его: «Ты это видел?»

Пока письмо читалось, нетерпеливый Игишев, а за ним и Торопов, не удержались обменяться репликами — Акимов хорошо слышал их: «Вот так заготовитель! Новой формации»,— сказал Игишев. «Наоборот, старой формации. Это вроде того секретаря, о котором вчера рассказывал Пронин»,— ответил Торопов. Пастухов сидел неподвижно, забыв зажатую между пальцами сигарету. Как только Акимов закончил читать письмо, он вскочил.

— Это беспардонное вранье саботажников хлебозаготовок! — Он начал говорить с таким азартом и так громко, что Акимов предупреждающе поднял вверх ладони, прося пощадить уши присутствующих. Но Пастухов продолжал в том же духе: — Я требовал вы-

полнения плана, это мое право, а откуда они возьмут зерно, из каких фондов, это ихнее дело, они обязаны выполнить план любыми средствами, на то он и государственный план! Надо судить председателя колхоза за саботаж, за несвоевременную сдачу зерна, а не вытаскивать на бюро эту глупую писанину, клевету на начальника производственного управления, ответственного за план по району.

И он, зло взглянув на Акимова, сел, стал разжигать потухшую сигаретку.

— Предположим, не ты один в районе ответственный за это,— заметил Торопов.

— Во всяком случае, ты не в их числе,— бросил Пастухов, глубоко затянулся сигаретой и не заметил, как выдохнул дым в лицо сидевшего напротив Степочкина. Тот зажмурился, но не отвернулся, ничем не выдал своего неудовольствия.

— Судить председателя колхоза стоило бы, только теперь не за то, за что ты предлагаешь, а за сдачу семенного зерна,— сказал прокурор.— Но по обстоятельствам дела, как изложено в письме, судить надо не его, а того, кто толкнул на это.

— Правильно, прокурор,— поддержал Игишев.— Тут не надо быть юристом, чтобы криминал обнаружить.

Пастухов повернулся к нему, уже взмахнул бровями, намереваясь отчитать Игишева, как Акимов постучал карандашом.

— Подождите драться прежде времени, поберегите силы,— сказал он.— Вношу на ваше обсуждение проект решения по вопросу хлебосдачи,— и он извлек из стола листок,

отпечатанный ему еще вчера машинисткой,— вот тогда можете спорить, предлагать и защищать свои мнения... Но перед тем, как ознакомить вас с проектом, мне хотелось сказать два слова. Товарищ Пастухов тут обронил, что из каких фондов колхоз будет план выполнять — его не касается. Нет, товарищи, это касается каждого из нас, и в первую очередь тебя, товарищ Пастухов, как руководителя сельского хозяйства района. Что значит сдать семена? Это поставить колхоз под удар в будущем году. А нам жить не только сегодня, а и завтра и послезавтра, не только в этом году выполнять план хлебосдачи, но и в будущем, да не просто выполнять, но и перевыполнять. Повторяю, нам не только сегодня жить, нам вечно жить! Жить нашим людям, нашей стране, и чем дальше, тем больше будут потребности в зерне, мясе, овощах. Так что твоя задача, как руководителя, не семенное зерно в колхозах выколачивать, а вглубь вопроса смотреть, так строить работу, чтобы с той же земли с каждым годом брать все больше и больше продуктов сельского хозяйства. Одним словом, нельзя нам жить сегодняшним днем, надо заглядывать в завтра.

— Это что? Очередная лекция? — спросил Пастухов, делая подобие улыбки на лице.— Читай ее не мне, а местной интеллигенции — врачам, учителям, счетоводам. Мне такие лекции слушать, все равно, что в первый класс школы ходить, азбуку учить... Я сам кое-кого поучу, как надо работать, как руководить районом.

— Ишь ты! — удивился Игишев.

Акимов ничего не ответил на тираду Пастухова, лишь подвигал скулами, пожевал губами, взглянул на Торопова, будто хотел узнать его мнение обо всем этом, и, переждав, когда утихнет волнение за столом, вызванное словами Пастухова, стал читать проект решения бюро.

В проекте отмечались недостатки в проведении заготовок зерна, осуждались руководители некоторых колхозов, придерживающих зерно, не спешащих расстаться с ним, осуждались и способы заготовок, подобные тем, какие применял Пастухов в колхозе «Рассвет», за что Пастухову ставилось на вид. В проекте решения строго указывалось: кто выполнил план и свои обязательства, там вопрос о дополнительной сдаче зерна государству решать только на добровольных началах и лишь при наличии излишков зерна. При этом указывалось на необходимость всюду засыпать семена до полной нормы и не трогать их под страхом уголовной ответственности. В конце решения члены бюро распределялись по группам колхозов, причем, как с удовлетворением отметил про себя Торопов, ему достался лесной район, куда входил и колхоз «Большие Поляны».

— Это не решение, а поблажка саботажникам хлебозаготовок! — вновь вскипел Пастухов, едва дождавшись, когда Акимов кончит читать. Он передернулся весь, задвигался нетерпеливо на стуле, когда услышал, что ему ставится на вид за поведение в колхозе «Рассвет».

— Насчет саботажников — ты загнул, их

давно нет. А если кто «тянет резину» с хлебосдачей, согласен, к тем следует применять меры партийного воздействия,— ответил Акимов, будто не видел взъерепенившегося, не сидевшего спокойно Пастухова.— Повторяю, надо требовать там, где есть возможность выполнить план, но не теми методами, которые применяет товарищ Пастухов. Люди у нас в большинстве сознательные и поймут, к чему их призывают... У кого есть замечания по проекту?

— Я целиком и полностью не согласен с проектом,— вскочил Пастухов.— Это решение — преднамеренный срыв государственного плана, чего я допустить не могу. И потому не намерен молчать, буду писать об этом в область, в обком партии... Требую записать мое особое мнение. Думаю, и другие члены бюро согласятся со мной.

Он выразительно посмотрел на молчавшего Степочкина.

— Хорошо, запишем твое особое мнение,— ответил недовольно Акимов, которому и до этого уже надоело спорить с Пастуховым, а тут споры на бюро второй день подряд.— Если больше замечаний нет, я голосую.

Вновь четверо подняли руки, а двое нет.

— А ты, Василий Васильевич, тоже против? — поинтересовался Акимов.

Степочкин, красный от смущения, посмотрел на мрачного Пастухова, потом на ждущего от него ответа Акимова, и, потупив глаза, сказал тихим голосом:

— Запиши, что воздержался.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

К этому дню готовились всю неделю. Мыли полы и окна в клубе, вешали кумачовые полотнища с лозунгами, чистили и подметали вокруг, даже привезли с реки машину песка и посыпали им дорожку к крыльцу.

После полудня ринулись сюда мальчишки.

Потом показались парни. Они сбивались в ватажку, шли по улице не спеша, в развалку — в узеньких брючках, в пиджаках внакидочку, с челками до бровей, шли пересмеиваясь, пересвистываясь. Где-то ближе к клубу к ним присоединился гармонист, полилась подмывающая музыка. И вот кто-то уже колотил остроносыми ботинками пыль на дороге, ему дружно прихлопывали в ладоши.

Услышав гармонь, суматошно заметались в избах девчата, торопясь нарядиться, натянуть на ноги, привыкшие к резиновым бахилам, капроновые чулочки, узенькие туфельки на каблучках-шпильках, взбить модную прическу, как это водится в городах, прикрыть ее шелковой косынкой, а то и оренбургским платком. И выйти на улицу навстречу подружкам в модном пальтеце, которое шилось в Колташах, а может, привезено из областного центра.

Ближе к вечеру к клубу пошли разодетые, как на праздник, бабы — в разноцветных юбках, в плюшевых жакетах, в шелковых полушалках, вытащенных для такого случая из

редко открываемых сундуков. Шли они не торопясь, оглядывая друг друга, оценивая наряды, щелкали семечки, доставая их из туго набитых платочков.

А за ними следом шли мужья, дымя папиросами, шли старики с батожками, старухи, укутанные в шали.

День был воскресный и, как по заказу, солнечный, хотя не очень теплый, такой, каким и полагается быть в начале октября. Еще не было зазимья, но первые снежные пушинки должны вот-вот появиться, это предвещали и частые пасмурные дни, и холодные северные ветры, гнавшие волну в пруду, и поредевшие лесные колки, роняющие остатний лист на землю.

Все, кто подходил к клубу, обращали внимание на лозунги, вывешенные по бокам входных дверей. На одном из них крупными белыми буквами написано: «Воздадим почет и уважение старой гвардии колхоза!» А на другом: «Да здравствует молодое поколение — новое пополнение рядов строителей коммунизма!»

Когда зал наполнился людьми, на сцену поднялись члены правления. Председатель колхоза Егор Уфимцев зашел за длинный стол, покрытый кумачевой скатертью, подождал, пока усядутся члены правления, оглядел разноликий, гудящий зал. Впереди всех, на передних скамьях, сидели самые старые люди, основатели колхоза. В числе их Уфимцев увидел свою мать, рядом с ней Позднина, других стариков, которые сегодня не утерпели, пришли в клуб. Он увидел и брата Максима,

и жену его Физу, и тетю Соню, и Павла Семечкина, и шалашовских мужиков, подъехавших на машинах, специально посланных за ними. И колхозных механизаторов — трактористов, шоферов, комбайнеров — в костюмах и при галстуках. Уфимцеву непривычно было видеть их такими, да и сами они, сменившие промасленные фуфайки на габардиновые пиджаки, чувствовали себя стесненно, сидели смирные под боком у своих бойких жен.

Он позвонил колокольчиком, призывая к тишине.

— Дорогие товарищи! — начал он, когда люди успокоились.— Сегодня у нас необычное собрание. Мы провожаем на заслуженный отдых наших старших товарищей, отдавших половину своей жизни родному колхозу. Они своим бескорыстным трудом заслужили того, чтобы мы сегодня чествовали их как самых дорогих нам людей. Разрешите пригласить в президиум следующих «виновников» сегодняшнего торжества.

И он зачитал список, в котором значились фамилии тринадцати человек.

Оглушительные аплодисменты покрыли его слова, и под их гром на сцену поднялись Коновалов Иван Петрович, Сараскин Архип, Колыванов Серафим, Пелевина Софья, или, как ее все зовут в колхозе, тетя Соня, а за нею и еще — все тринадцать человек. Члены правления разводили их вдоль стола, по обе стороны от Уфимцева. Они смущенно, уступая места друг другу, усаживались.

В зале встал и поднял руку тракторист Никита Сафонов.

— Я предлагаю посадить в президиум также наших бывших председателей, ныне пенсионеров, Евдокию Ивановну и Трофима Михайловича.

Зал опять загремел аплодисментами. Кто-то крикнул: «Тетеркина! Никанора Павловича!» — но его никто не поддержал, а может, за шумом в зале, не все слышали. Евдокия Ивановна, придерживая руками юбку, тяжело взобралась по узкой лестнице на сцену. За ней, опираясь на палочку, взошел и Позднин. Им освободили место за столом.

— Слово для зачтения решения правления колхоза предоставляется Анне Ивановне Стенниковой,— объявил Уфимцев.

Стенникова тоже принарядилась по такому случаю: одела цветное платье, прицепила к ушам клипсы, на шею повесила бусы и стала совсем моложавой, неузнаваемой. Пока она, стоя у трибуны, читала решение, по которому все тринадцать человек с первого октября переводились на пенсию и награждались подарками, Попов с Кобельковым вынесли из-за кулис два больших чемодана, водрузили их на стол.

— Извините, дорогие пенсионеры,— сказал Уфимцев, когда Стенникова, кончив читать, отошла от трибуны,— за наши скромные подарки. Живите дольше, разбогатеем — поправим дело. А сейчас, как говорится, чем богаты, тем и рады.

Он открыл один из чемоданов.

— Архип Иванович!

Архип Сараскин, сидевший бочком в конце стола, поднялся, потоптался в нерешитель-

ности, покрутил белой головой туда-сюда; кто-то его подтолкнул, сказав: «Иди, председатель зовет», и он подошел к Уфимцеву — маленький, худенький, чуть видный из-за сидевших за столом людей. Уфимцев вынул из чемодана большую пыжиковую шапку и надел ее Архипу на голову. В зале раздался многоголосый возглас изумления, потом аплодисменты, смех, одобрительные выкрики. Архип, растерявшийся от аплодисментов, от внимания к нему, от такого неожиданного подарка, снял шапку, и держа ее бережно, на весу перед собой, словно это была не шапка, а какая-то хрупкая, легко бьющаяся вещь, сказал Уфимцеву:

— Куда мне такую дорогую? Мне и поплоше ладно.

Зал грохнул от смеха.

— Носи, Архип Иванович,— ответил Уфимцев, пожимая ему руку,— ты не такую, ты золотую шапку заслужил своим трудом, да таких в магазинах не продают.

Тетя Соня получила большую, как одеяло, теплую шаль с кистями, Иван Петрович — отрез на костюм,— каждый из уходящих на пенсию получил подарок соответственно его вкусу, о чем постарались Попов с Кобельковым, специально ездившие в Колташи добывать все эти вещи. Только Серафиму Колыванову, к зависти парней, достался транзисторный приемник. Он взял его за длинный ремень, стыдливо понес к своему месту.

— Бери, дед,— кричали парни,— обменяешь на валенки с галошами.

Когда награждение закончилось, слово

взяла тетя Соня. Она подошла к трибуне, но стала не за ней, а впереди нее.

— Спасибо вам, товарищи правленцы, за подарки,— и она, обернувшись к столу, низко, по-старинному, поклонилась в пояс.— И вам, товарищи колхозники, спасибо, что сделали уважение, пришли на наши проводы, не пожалели своего дорогого времечка.— И она снова низко поклонилась теперь уже залу, сидящим в нем людям.— Вот тут наш председатель сказал Архипу, что мало ему такой шапки, золотую надо за его труд. Верно сказал Егор Арсентьевич, очень верно, заслужили наши старики такого золотого слова. Да и не только старики, а и пожилые, кто не сегодня-завтра пойдет на пенсию, и кто с первых дней основания колхоза жил и работал — и в войну голодал, и после войны не шаньги ел, а работал, не отказывался, не бросал колхоз, кормил страну. Чего мы только не пережили за свою жизнь, хлебнули и сладкого и горького, другому народу на тыщу бы лет хватило, а мы живем, песни поем, а то и винца выпьем, кому достаток дозволит. А почему? Да потому, что верим, верим в себя, в свой народ, верим в свою партию, что не мы, так наши дети либо внуки доживут до счастливых дней коммунизма!

Что тут только началось: люди повскакали со своих мест, зааплодировали, кто-то крикнул: «Слава старшему поколению!» — и молодежь подхватила, заскандировала: «Слава! Слава! Слава!» Уфимцев, сгорая от рвущегося наружу восторга, оглянулся на членов правления, сидевших во втором ряду от стола,

чтобы пригласить их порадоваться вместе, и наткнулся на хмурый, отчужденный взгляд Векшина. Векшин тут же отвел глаза, но от Уфимцева не укрылось, что того не очень радовало все происходящее в клубе. Он не стал ломать голову над поведением Векшина — зал все еще шумел, и он поднял руку, прося тишины.

— Есть еще одно предложение, и оно выносится на ваше утверждение. Предлагается установить звание «Почетный колхозник» и присваивать его лучшим людям нашего колхоза, внесшим существенный вклад своим трудом в его развитие.

— Правильно! Принять! — послышались одобрительные голоса.

— Если нет возражений, позвольте предложить и первых кандидатов на это почетное звание.

Уфимцев зачитал список. В нем были два бывших председателя колхоза: Евдокия Уфимцева и Трофим Позднин, плотник Василий Степанович Микешин, тракторист Никита Сафонов, горючевоз дядя Павел, и только сегодня отправленные на пенсию комбайнер Иван Петрович Коновалов, конюх Архип Сараскин, доярка тетя Соня Пелевина.

И опять были аплодисменты, опять молодежь скандировала: «Слава!».

— Будем считать, что с первым вопросом мы закончили. Теперь приступим ко второму. Нам предстоит принять в свой состав новых членов из числа молодежи, окончивших нашу школу и оставшихся или пожелавших работать в колхозе.

По залу прокатился гул,— очевидно, не все знали о предстоящем событии, к тому же в колхозе давно не соблюдался пункт Устава, по которому молодежь, достигшая шестнадцати лет, должна приниматься в колхоз на общих собраниях. Обычно происходило так: оставался парень или девушка в колхозе, пошел работать,— заносили в список, уехал — скатертью дорога, никого это не интересовало, кроме отца с матерью.

— А много их осталось? — спросили из зала.

— Немного,— ответил Уфимцев.— К сожалению, немного, всего восемь человек.

— Ты скажи, кто? — снова спросили из зала.

— Сейчас скажу.— Он взял из рук Стенниковой папку, вынул из нее список.— Первый: Иван Тулупов, сын Дмитрия Петровича из Шалашей. Встань, Ваня!

В группе молодежи поднялся длиннющий парень, улыбнулся сконфуженно, пряча за спину руки.

— Я голосую. Кто за принятие в члены нашего колхоза Ивана Тулупова, прошу поднять руки. Кто против? Принят единогласно. Разрешите новому члену колхоза вручить трудовую книжку колхозника.

Ваня Тулупов под аплодисменты зала поднимается на сцену. Уфимцев подает ему книжку и жмет руку.

— Следующий: Сергей Уфимцев, сын Максима Арсентьевича.

С особым удовольствием вручал своему племяннику трудовую книжку председатель.

Он посмотрел в зал, увидел опущенную голову застеснявшегося Максима, раскрасневшуюся, похоже, громче всех аплодирующую Физу.

— Следующая: Нина Сафонова, дочка Никиты Григорьевича, тракториста, ныне почетного колхозника.

— Так она же в Репьевке, в десятилетке учится,— крикнул кто-то из женщин, недоумевая.

Из середины зала поднялась невысокая девушка с длинной русой косой, проворно прошла по проходу, поднялась на сцену.

— Это я — Нина Сафонова,— представилась она залу не смущаясь.— Хочу быть колхозницей. И хочу учиться дальше, чтобы вернуться в колхоз специалистом, приносить больше пользы.

Но, видимо, смелости у девушки хватило только на эти заранее подготовленные слова,— услышав аплодисменты, она зарделась, прикрыла лицо ладошкой, и под конец не выдержала, юркнула за кулисы.

— Какое будет мнение, товарищи? — спросил Уфимцев.

— Принять! — раздались голоса.

Приняли и остальных, бывших налицо: двух девушек и парня. Заминка произошла с заявлениями Коли Микешина, внука Василия Степановича, и Веры Кобельковой, сестры бригадира. Оба, окончив Репьевскую среднюю школу, поступили в этом году в институты: он — в сельскохозяйственный, она — в медицинский.

— Они же не хозяева себе,— раздавались недоуменные голоса.— И мы им не хозяева,

у них свое начальство, куда оно захочет, туда и пошлет на работу.

— А мы их начальству свое решение направим, попросим наших колхозников к нам вернуть по окончании институтов. А чтобы подкрепить свою просьбу, давайте часть расходов на содержание наших студентов возьмем на себя. Например, установим им колхозную стипендию, пусть они получают ее не от государства, а от колхоза. Зато у нас через пять лет будет свой зоотехник с высшим образованием и свой врач.

Уфимцев убеждал колхозников в целесообразности такой меры потому, что опасался противодействия со стороны Векшина и его единомышленников, но, к его удивлению, никто противодействия не оказал, предложение прошло без всяких возражений. «Да, плохи твои дела, Петр Ильич,— подумал Уфимцев, радуясь победе.— Начинают покидать тебя друзья, видимо, разобрались, на чьей стороне правда».

И он, радуясь сегодняшней удаче, так хорошо, по-праздничному прошедшему собранию, крикнул в зал, не сдерживая радости:

— Спасибо, товарищи! Объявляю собрание закрытым.

2

Векшин неспроста сидел хмурым на собрании, словно не на празднике находился, а на похоронах. И, кажется, не видел жизнерадостных, по-праздничному разодетых своих

односельчан, не слышал их восторженных речей, оглушительных аплодисментов. Он уже сто раз покаялся, что пришел сюда и сидит на виду у всех, вместо того, чтобы сказаться больным и лежать дома, не видеть Уфимцева, не видеть, как он командует тут, весело бьет в свои большие ладоши, когда зал гремит аплодисментами, не видеть, как тепло, по-отечески, жмут ему руку старики-пенсионеры.

А его, Петра Векшина, никто не вспомнил, никто не упомянул, как будто его уже не существует на белом свете.

Тогда в Колташах, когда его вызывали на бюро парткома, он загулял с Васьковым на радостях, будучи уверенным, что с Уфимцевым теперь навсегда покончено. И на второй день, встав с головной болью, они, с легкой руки хозяина квартиры, давнишнего знакомого Векшина, вытащившего из подпола уже початую корчажку с брагой, вначале основательно опохмелились, а потом, после горячих пельменей и водки, пели песни, к кому-то ходили в гости, где было много мужиков и баб и где опять пили, опять пели. Но из этого гостевания Векшин помнил только одно, как Васьков опять плакал и колотил себя в грудь, и как одна бабенка все пыталась утешать его, лезла целоваться.

А на третий день, проснувшись, с трудом вспоминая вчерашнее, он отказался от опохмелки, услужливо предложенной хозяином, выпил два стакана густого чая без сахара, и пошел в партком, не велев будить Васькова до его возвращения. Ему не терпелось узнать, чем закончилось дело Уфимцева. Но тянуло

его в партком не простое любопытство, он надеялся на вероятный разговор с ним Степочкина или Акимова (конечно, лучше Степочкина, чем Акимова) о руководстве колхозом. Поэтому прежде, чем явиться в партком, он зашел в парикмахерскую, постриг волосы, подровнял бородку и усы, попросил попрыскать его цветочным одеколоном, чтобы отбить запах водочного перегара, и только тогда пошел.

Но в парткоме его ждало разочарование: ни Степочкина, ни Акимова на месте не оказалось, они выехали в колхозы. Он пошел было из приемной, но, дойдя до двери, остановился: уйти, не узнав о деле Уфимцева, он не мог. Поколебавшись, постучал к помощнику секретаря, войдя, назвал себя, сказав, что ездил в командировку, сейчас со станции, и якобы кто-то сказал ему, будто видел Уфимцева в парткоме. Вот он и зашел, надеясь уехать с ним домой. Но Уфимцева он здесь не нашел. Может, товарищ знает, где тот сейчас?

— Здесь его нет,— ответил помощник.— Вчера был у себя в колхозе. Там Торопов сидит, так что ему не до разъездов.

У Векшина застучала кровь в висках: значит, Уфимцева уже снимают — иначе зачем бы там находиться Торопову? А он тут водку с Васьковым пьет, время зря проводит, когда надо быть в колхозе.

— А уехать домой тебе просто: ваши машины сегодня с зерном на элеватор должны подойти, вот с ними и езжай,— подсказал помощник.

Векшин даже не спросил — не об этом думал сейчас,— что за зерно их машины возят из колхоза на элеватор, не стал возвращаться на квартиру за Васьковым,— теперь было не до него.

Погода стояла пасмурная, холодная, небо закрылось какой-то мутью, дождя не было, по улицам гулял ветер; особенно пронзителен он был за селом,— Векшин ощутил это, когда, миновав вокзал, станционные постройки и пакгаузы, вышел к элеватору, открытому всем ветрам со стороны степи.

В небольшом хвосте очереди он разыскал все пять своих машин, по словам шоферов, успевших только-только подъехать. Он с необычной для себя поспешностью, почти с угодничеством поздоровался с шоферами, заглядывал им в глаза, по их поведению пытаясь определить, что делается в колхозе. Ему не терпелось узнать, как обстоит с Уфимцевым, но он решил сдержать себя, не торопить события, не показать шоферам своей заинтересованности. Вместо этого спросил, что за зерно привезли и откуда, спросил так, между прочим, чтобы отвлечь себя от мучившей мысли о событиях в колхозе, о причинах появления там Торопова.

— А вы что, не в курсе? — удивился кто-то из шоферов.

— Наш овес, Петр Ильич,— сказал Николай Коновалов, вынимая пачку болгарских сигарет в красивой упаковке. Шоферы, не скрывая любопытства, потянулись к нему за сигаретами.

— Так ведь мы выполнили все задания

полностью,— пришла пора удивляться Векшину.— А овес этот в счет чего?

— Дополнительная поставка,— ответил Николай.— Вернулся из Колташей Егор Арсентьевич, собрал собрание, говорит, надо помочь району. Вот и решили: отдать две тысячи пудов овса.

— А Торопов, председатель райсовета, зачем приезжал? — еще не теряя надежды услышать приятную новость, спросил Векшин.

— Так вот за этим и приезжал... по дополнительной поставке. Вчера собрание было, он тоже присутствовал, речь держал.

— Торопов уже уехал,— сказал Иван Лапшин, самый пожилой из шоферов. Он оценивающе, словно снимал пробу, затягивался болгарской сигаретой, морщился, пуская дым в нос, потом разглядывал сигаретку, крутя ее перед собой.— Я утром под погрузку машину ставил, видел, как он на газике маханул куда-то через Санару.

У Векшина пересохло во рту, он смотрел на спокойно покуривающих шоферов и, кажется, не видел их.

— Ну, а на собраньи, кроме хлеба, какой еще разговор был? — спросил он, уже не таясь от шоферов.— Насчет Уфимцева был разговор?

— Насчет Уфимцева? — переспросил Иван Лапшин.— Егора Арсентьевича? А какой о нем разговор может быть? Разве только спасибо ему от народа сказать... Егор свое дело знает, и колхоз не обидит, и начальство сумеет ублаготворить. Этот покрепче будет

Позднина... Ребята, давай по машинам, а то очередь пропустим.

Словно кто ударил под коленки Векшина — у него ослабли ноги. Он поискал куда бы присесть, высмотрел кем-то брошенное в сторону от дороги прохудившееся ведро, пошел, сел на него. Ему бы пойти в контору, помочь шоферам быстрее протолкнуться в очереди, оформить документы, а он сидел, как чучело на огороде, на перевернутом вверх дном ведре, подставив спину ветру, и не мог найти в себе силы подняться. Уже не было рядом машин, они ушли вперед, и одинокая, скрюченная фигура Векшина на широкой поляне вызывала законное чувство брезгливости у прохожих, думающих, что человек заболел животом, не дошел до нужного места...

Только дома, вернувшись в колхоз, Векшин узнал, что все его попытки свалить Уфимцева окончились по существу ничем: одним выговором. И этот выговор Уфимцев получил не за то, в чем обвинял его Петр Ильич, а как раз наоборот, за то, на чем он всегда настаивал: за раздачу хлеба колхозникам.

Придя утром в правление на следующий после возвращения день, он прошел по коридору мимо закрытых дверей председательского кабинета, за которыми слышался негромкий разговор, зашел в свою комнату, где сидел вместе с Поповым. Попова не было, и Векшин, сняв пальто и шляпу, сел за свой стол, словно приготовился поработать — почитать, пописать. Но ни писать, ни читать ему не хотелось, он этим и раньше не часто занимался. И стол ему был не особенно нужен,—

просто полагался по положению, и он его месяцами не открывал, а все свои документы и записи носил в полевой сумке.

Не успел он сосредоточиться, подумать о том, как себя дальше вести, как относиться теперь к Уфимцеву, дверь приоткрылась и на пороге появилась Стенникова.

— Ты приехал? — спросила она, не заходя в комнату, спросила, как ему показалось, обрадованно.— Мне с тобой поговорить надо, не уходи, пожалуйста. Я сейчас.

Она ушла, оставив Векшина в недоумении: чему это Стенникова радуется? Не ему же, не тому, что он возвратился,— их отношения далеко не такие, чтобы радоваться друг другу.

И он, с плохо скрываемым подозрением, встретил вернувшуюся Стенникову.

— Ты где пропадал? — спросила она, доставая сигарету.

«Вон, оказывается, в чем дело! — злобно подумал Векшин.— У тебя не спрашивался!»

— Не пропадал, а по делам оставался... На элеваторе был, в райсоюзе, да мало ли у меня дел? Пока без контролеров обходился.

— Я в том смысле,— ответила Стенникова, чиркая спичкой и раскуривая сигаретку,— что долго отсутствовал, без тебя решение принимали... Хотелось твое мнение узнать, правильно ли мы поступили, дав согласие на две тысячи пудов?

— А чего теперь спрашивать моего мнения? От моего мнения хлеба в амбаре не прибавится.

— Пожалуй, твое мнение я и так знаю,— сказала Стенникова.— Скажи, Петр Ильич,

только честно, как коммунист, на прошлой неделе ты был в Шалашах?

— Был. И на прошлой и на позапрошлой... А что? Может, у кого-то поросенок пропал, а на меня подумали, не я ли рубанул?

И он весело засмеялся, блеснул белыми зубами.

— Кому ты там говорил, что хлеба в колхозе больше нет, на трудодни нечего выдавать? — спросила Стенникова, не обращая внимания на смешок Векшина.

Кажется, только теперь ему стала понятна цель прихода Стенниковой и суть ее вопросов: она подбирала под него ключи, чтобы побыстрей раскрылся, тогда ей и Уфимцеву будет с ним просто расправиться за его письмо в партком. Но это вряд ли ей удастся, она плохо знает Векшина.

— А об этом и говорить никому не надо,— ответил он, стараясь быть спокойным, хотя чувствовал, как волна ненависти душит его, захлестывает горло.— И без меня все знают, что хлеба в колхозе больше нет. Вчера последний в Колташи увезли.

— Это не последний хлеб, и ты прекрасно это знаешь, зачем же говоришь неправду? И с зерном на трудодни... Почему ты сказал в Шалашах, что нечего выдавать, когда зерно у нас было и на днях колхозники получили его,— по два килограмма, как и было обещано.

— Слышал, как вы ловко обманули колхозников. Овсом выдали! И не на годовые трудодни — год еще не кончился, а вы его закрыли! — крикнул Векшин и затрясся от злости.— Отвечать за это будете!

— Успокойся, не кричи,— попросила Стенникова. Она тоже немножко нервничала, жадно курила, давилась дымом, отгоняла его от лица рукой.— Не одним овсом выдавали, хотя овес — тоже хлеб, как говорят колхозники. И раньше мы им не брезговали, при Позднине — вспомни-ка!.. А относительно годовых трудодней — выдадим и на них, после отчетного собрания, зерно и на это найдется. Так где же тут обман? И с какой целью ты, один из руководителей колхоза, дезориентируешь колхозников, провоцируешь их на безответственные действия?

— А я отчитываться перед тобой не обязан, ты мне — никто! — Векшин встал, отошел к вешалке, сдернул пальто.— Я колхозниками на должность поставлен, они меня и могут допрашивать... Ты думаешь,— он повернулся к ней и заговорил, задыхаясь, никак не попадая рукой в рукав пальто,— ты думаешь, если партком не разобрался в наших делах, сделал вам поблажку, так на этом дело и заглохнет? Как бы не так! Подождем, что скажет ЦК на письмо колхозников, его не один Векшин подписывал. Там все раскрыто, вся подноготная ваша с Уфимцевым, все ваши грязные дела! Это вам не партком!

Он толкнул дверь и ушел, как победитель. Стенникова поглядела ему вслед, покачала головой, еще посидела немножко, подумала, докурила сигаретку и пошла к Уфимцеву.

У того в кабинете находился председатель Репьевского сельсовета Шумаков — голубоглазый крепыш лет тридцати пяти. Он нравился Анне Ивановне своей общительностью,

веселым нравом и тем, что никогда не жаловался на трудности, на свою беспокойную жизнь председателя Совета, хотя трудностей в его хлопотливой работе было достаточно.

Видимо, они закончили уже деловые разговоры, Шумаков собрался уходить, стоял одетым посреди кабинета.

— Здравствуйте, Анна Ивановна. Рад был вас увидеть. И, как говорится, до свидания,— поехал дальше, в лесничество.

— А что там? — поинтересовалась Стенникова.

— Давно в лесном поселке не был, появились просьбы, жалобы. Придется посидеть там денька два... Ну, бывайте здоровы.

И он ушел. Стенникова подошла к окну, проследила, как Шумаков отвязывал лошадь, как легко вскочил в седло и поехал крупной рысью от ворот.

— Вот бы нам такого в колхоз,— вздохнул за ее спиной Уфимцев.— Это был бы зампред, не чета нашему Векшину.

Стенникова отошла от окна, присела к столу председателя. Уфимцев был в том же костюме, что и на бюро парткома, только теперь без галстука. И костюм все так же помят, как и тогда, перепачкан чем-то. «Плохо ему все-таки без жены»,— подумала она. Подумала и решила сходить сегодня под вечерок к Ане,— надо выполнить просьбу Акимова.

— Говорила я сейчас с Векшиным... Сказать вам откровенно, только время зря потеряла. Никакие убеждения на него уже не действуют.

— А убеждать его и не надо, Анна Ивановна.— Уфимцев оторвался от стола, где он рассматривал какую-то схемку на листе бумаги.— Мы уже говорили с вами об этом: проверить все его действия, направленные на подрыв колхоза, все его провокационные вылазки против решений правления, и поставить вопрос на партийном собрании. Пусть коммунисты дадут оценку его поведению.— Он встал, нетерпеливо заходил по кабинету.— Ведь нельзя больше терпеть в колхозе этого негодяя, вы сами слышали его письмо парткому. Чего он там только не наплел!

Стенникова взяла со стола лист, который до этого рассматривал Уфимцев. Это была схема животноводческого городка, о чем, как она знала, давно мечтал Уфимцев, и не раз ей говорил.

— Ну хорошо,— сказала она, кладя лист на место,— мне съездить в Шалаши не долго, не трудно собрать и заявления на него, как он собирал их на вас, хотя, кстати говоря, Векшин и сам не отказывается от своих разговоров с колхозниками в Шалашах. Уверена и в том, что коммунисты колхоза осудят его поведение. Но что это даст? Успокоит ли это Векшина и его друзей? Думаю, нет. Наоборот, кое-кто поймет, что это месть с нашей стороны за письма в партком, в ЦК. Говорят, письмо в ЦК подписали тридцать человек. Разве они будут молчать? И опять пойдут во все стороны письма и жалобы, и кто знает, кого пришлют с проверкой, может, такого, что понастырнее окажется Василия Васильевича.

Уфимцев перестал ходить, сел на стул.

— Что же вы предлагаете?

— Надо дождаться результатов на письмо в ЦК. Вероятнее всего, как-то должен к нам приехать, проверить,— из Москвы или из области, я не знаю, но коллективное письмо из колхоза там без ответа не оставят. Вот тогда, после проверки, и решим, что делать.

— Как же так, Анна Ивановна? — Уфимцев горестно развел руками, потом сжал кулаки, прижал их к груди.— Сколько еще можно терпеть от этого человека? Боюсь, у меня не хватит выдержки, и я когда-нибудь сорвусь, наломаю дров, если он будет мешать мне и дальше.

— Не сорветесь, в вас-то я уверена. Да и колхозники не пойдут за ним, чего его уж так опасаться?

Уфимцев зажал рот горстью, облокотился на стол, задумался. Долго так сидел, глядя на окно, за которым стоял серенький денек осени, с тучками на небе, с голыми деревьями в палисадах. Стенникова ждала, с тревогой наблюдала, как тяжело давалась председателю эта вынужденная обстоятельствами отсрочка.

— Черт с ним, пусть живет,— наконец произнес он.

3

Все это время, после прихода к ней Анны Ивановны,— и длинный день и еще более длинную ночь,— Груня жила в большой тревоге за судьбу Егора. Она уже раскаивалась,

что отказалась поехать с Анной Ивановной в Колташи, и это раскаяние, переросшее в чувство вины перед Егором за свою нерешительность, еще больше угнетало ее.

Когда Уфимцев вернулся из Колташей, она не удержалась, решилась наутро сходить к Стенниковой. Она не стала дожидаться прихода Анны Ивановны в контору, пошла к ней на квартиру. Груня понимала, что поступает неразумно — беспокоит пожилого человека, может, еще не отдохнувшего как следует с дороги, но в контору пойти не могла: ей не хотелось встречаться с Уфимцевым, не хотелось, чтобы он, увидев ее, подумал, будто она опять ищет с ним встречи. Ей достаточно одного выговора — там, на огороде у Дашки, она будет помнить его всю жизнь. Хотя, по правде сказать, никого ей так не хотелось видеть, как Егора.

Она поднялась пораньше, еще до рассвета, подоила корову, выгнала ее в табун и, оставив матери подойник с парным молоком, пошла к Стенниковой.

Было пасмурно и ветрено, засанарская сторона чуть просматривалась, в сумрачном рассвете проступали далекие зубчатые леса, оттуда плыли и плыли, как неудержимая вода в половодье, быстрые и тонкие коричневые облака, уходили за Кривой увал, навстречу еще невидимому солнцу.

Анна Ивановна жила почти рядом, через два дома. Стоило только пересечь улицу, подойти к крытому щепой домику на два окошка, где она квартировала у одинокой, глуховатой старухи Сидоровны.

Груня открыла калитку и тут же увидела Анну Ивановну, одетую в просторный фланелевый халат. Она стояла с тазом в руках — кормила кур возле старой и низенькой погребицы, заменявшей хозяевам амбар. Сизые голуби летели на двор со всех сторон, присаживались к курам, не боясь хозяйки, торопливо склевывали зерна с земли.

— Заходи, заходи,— пригласила она Груню, увидев, как та нерешительно остановилась у калитки.— Я сейчас.

Она сунула таз в дверь погребицы, закрыла ее на накладку и пошла навстречу гостье.

— Пойдем в дом,— обняла она Груню за талию,— на дворе холодно, а я в одном халате.

Пройдя через маленькие сенцы, потом через переднюю с большой русской печью, они вошли в комнату, где стояла кровать с двумя подушками, круглый стол под ажурной скатертью, радиоприемник на этажерке с книгами, три стула да зеркало на стене,— вот и все, что могла увидеть Груня в жилище секретаря партийной организации колхоза.

Они уселись у стола — одна радостно улыбаясь гостье, другая — смущаясь своего неуместного визита.

— А я знаю, зачем ты пришла,— сказала Анна Ивановна, разряжая обстановку.— Пришла узнать, как решилось дело с Егором?

Груня несмело кивнула головой, подобрала волосы под шаль, с тревогой уставилась на Стенникову.

— Хорошо решилось дело, Груня. Я и не ожидала, как хорошо! Правда, наказали Его-

ра, но не за это... не за семейную неурядицу. И тут тебе я должна спасибо сказать, выручила ты меня своей откровенностью, поверили мне члены бюро.

— За что же тогда его наказали? — еще не веря словам Анны Ивановны, спросила Груня, хотя все так и всколыхнулось в ней, заколотилась радость в груди, стала рваться наружу.

— Да так, можно сказать, ни за что,— уклонилась от прямого ответа Анна Ивановна. Не могла же она рассказывать Груне о том, что происходило на бюро, а без этого непонятны были бы причины наказания Уфимцева.— За хозяйственные упущения...

Анна Ивановна не успела досказать, как Груня вдруг засмеялась — весело, безудержно.

— Ой, как я рада, Анна Ивановна, кто бы только знал! — воскликнула она и, сорвавшись с места, подбежала к Стенниковой, обхватила ее и крепко-крепко прижала к себе.

— Отпусти, задушишь, дурная! — смеясь, отбивалась от нее Анна Ивановна, довольная тем, что еще одной радостью на земле стало больше.— Оставишь колхоз без бухгалтера.

Груня отпустила ее и, тяжело дыша, не скрывая счастливой улыбки, уселась напротив.

— Сказать по правде, я глаз не сомкнула в эту ночь,— призналась Груня.— Все думала: что я, дура, наделала? Ведь из-за меня все это произошло! Не уйди я от Васькова, ничего бы и не было. Хоть и не виновата я, а все думала: виновата.

Она все еще улыбалась, никак не приходила в себя от радости. И говорила и говорила, рассказывала Анне Ивановне, что она пережила за эти сутки. Ей стало жарко, она расстегнула куртку, спустила шаль с головы на плечи.

— Я понимаю тебя, Груня, очень понимаю,— ответила Стенникова, выслушав ее признание.— Теперь все тревоги позади, можно и не мучить себя, не ломать голову над судьбой других. Пора подумать и о себе... Что дальше думаешь делать, Груня? Ты извини меня, что я в твою жизнь вмешиваюсь, но ведь надо как-то себя к месту пристраивать, если к Васькову не думаешь возвращаться.

— Нет! Нет! — запротестовала Груня.— И разговора быть не может! Раньше не вернулась, а теперь и подавно, раз с Егором все окончилось благополучно.

— Все же, видимо, думала вернуться? Думала раньше?

— Думала,— созналась Груня.— Думала вчера, после вашего прихода... Если бы Егора сняли с работы или исключили из партии, я бы пошла на это, лишь бы он оправдался перед людьми, перед партией.

— Хороший ты человек, Груня! — прорвалось у Анны Ивановны то, что копилось уже давно, да как-то не было случая сказать это.— Хороший... Да вот судьба у тебя, видишь, какая. Кто в этом виноват — не хочу сейчас разбираться, только могу посоветовать: надо тебе работать. Работа — радость для человека, с ней и горе забывается. А там,

глядишь, и жизнь повернется по-другому. Ты еще молодая, интересная, счастье еще улыбнется тебе, не пройдет мимо.

— Нет, Анна Ивановна, насчет счастья — вряд ли, мне в это трудно верится...А вот насчет работы — сама понимаю, век на иждивении отца-пенсионера жить не будешь. Разве уехать куда-нибудь?

Она задумалась, наклонила голову, машинально перебирала бахрому скатерти. Стенникова молчала, не мешала ей думать. За окном светлел день; прошла грузовая машина, нещадно гудя на кур, на гусей; слышно, как соседка кричала: «Дочка! Дочка! Дочка!» — искала свинью, видимо убежавшую со двора.

— Нет, не могу я уехать отсюда,— проговорила, наконец, Груня, подняв на Стенникову затуманенные слезами глаза.— Не хватит на это моих сил... Как подумаю, что не увижу больше Егора, не увижу никогда, словно кто мне сердце из груди вырывает, терпеть мочи нет.

Она упала головой на стол и лежала так — без слез, без вздохов. Анна Ивановна погладила ее по волосам,— ей было жалко Груню, но она не знала, как ей помочь.

— Ну что же, оставайся в колхозе. Иди снова на ферму, поработай дояркой. Скоро старых доярок на пенсию будем провожать, места освободятся... Только поговори вначале с председателем. С Георгием Арсентьевичем.

Груня подняла голову, глаза у нее были красные, но сухие. И лицо было красное, словно она вышла из горячей бани.

— Боюсь я к нему идти, Анна Ивановна, опять что-нибудь наплетут... Может, вы сами поговорите?

— А ты при народе заходи к нему, при народе разговор заводи. Чего бояться-то? Ведь не красть идешь, работу просить.

Груня встала, подняла шаль с плеч, покрыла голову.

— Спасибо вам, Анна Ивановна, за все, за все! — Она быстро пошла к двери, уже открыла ее, но вдруг, словно споткнувшись, остановилась, нерешительно обернулась к Стенниковой.— Я так и не спросила, что решили на бюро насчет семейного положения Егора?

— Рекомендовали вернуться к семье. Советовали доказать жене, что его оклеветали, и добиться примирения с ней.

Груня ничего больше не спросила, постояла еще в дверях, помолчала и ушла.

Она не отважилась тут же пойти к Уфимцеву,— слишком сильны были впечатления от разговора с Анной Ивановной, слишком велика была радость, переполнявшая ее. «Остался... остался в колхозе. Как хорошо-то... хорошо... хорошо!» — билось в ней, стучало в такт шагам, когда она переходила улицу. На душе было легко-легко, и не только на душе — во всем теле она ощущала эту легкость, словно искупалась в Санаре в жаркий полдень. Конечно, желание увидеть Егора сейчас, сию минуту преследовало ее, пока она шла домой, но она подавляла это желание, понимая, что в таком состоянии может совершить глупость, поддаться своему чувству и наговорить Егору что надо и что не надо.

Целую неделю она жила в ожидании встречи с Егором, представляла, как войдет к нему в кабинет — и в этот момент у нее всегда замирало сердце,— представляла, как он взглянет удивленно на нее, может, растеряется на миг от неожиданного ее прихода, потом широко улыбнется, распахнет свои серые глаза, как умеет делать только он один на земле, встанет ей навстречу... Дальнейшее она просто не могла себе представить, обрывала мечты на этом.

А может, все произойдет иначе: увидев ее, он прищурится — он всегда прищуривается, когда недоволен, и спросит грубо: «Чего пришла? Я говорил тебе — не ходи за мной. Только зря время потеряешь». И тогда она скажет ему, скажет прямо, без утайки: «Я ничего не требую от тебя. Просто хочу ходить по тем же тропкам, где и ты ходишь, хочу хоть раз в неделю видеть тебя. Неужели мне и этого нельзя?» Что он ответит, она не могла вообразить,— что-нибудь хлесткое, жесткое, он мог быть жестким, когда его возмущала ложь или несправедливость, но что ответит он на этот раз, она терялась в догадках.

Но все произошло не так, как она представляла. И встретились они не у него в кабинете, а на улице, среди белого дня, на глазах у всех.

Это случилось на второй день после собрания, на котором чествовали старых колхозников. Груня ходила в магазин, намеревалась купить дочке валенки.

Продавщица Нюрка Севастьянова, быв-

шая ее подружка, встретила Груню радостно, с удивлением:

— Пришла, затворница! В кои-то веки припожаловала! Как рассталась со своим Васьковым, так и глаз не кажет.

Груня поморщилась: народу хоть и немного было в магазине — две девчушки разглядывали ящик с брошками, шалашовский мужик покупал сахару и чаю, да баба с верхнего конца стояла, поджав губы, дожидаясь очереди,— а все же такая бесцеремонность Нюрки показалась ей неуместной.

Нюрка, кругленькая и черненькая, как галка, с накрашенными губками, которые она собирала оборочкой, когда взвешивала товар, следя за стрелкой весов. В девках была она бойкой, языкастой, верховодила подружками, любила покуражиться, понасмешничать над ними, безнадежно ждущими себе женихов, и однажды вдруг исчезла, уехала из села и вернулась домой через пять лет, ведя за ручку такого же черненького и мордастенького мальчишку лет трех. Где она была, что делала — Нюрка не рассказывала, а про мальчишку со смехом говорила: у цыганки на шаль выменяла.

— А я уж думала, ты в монашки записалась,— продолжала между тем Нюрка, не замечая недовольства Груни. Она сунула мужику две пачки чаю, пересчитала деньги за покупку.— Ни в кино, ни на улицу... Чего тебе? — спросила она бабу.

Груня отошла в сторонку, чтобы не лезть на глаза Нюрке, стала разглядывать разложенные по полкам ткани, платки, сумочки.

Отпустив покупательницу, Нюрка перешла к Груне, улыбнулась ей, заговорщицки поманила пальцем, прося подойти поближе.

— Что вчера на концерте не была? — спросила она ее полушепотом, хотя девчушки не обращали на них внимания, все еще торчали над ящиком, выставив худенькие зады.

— Не хотелось... Голова болела,— соврала Груня. А на самом деле не пошла потому, что не считала себя колхозницей: не работала.

— Ох, интересно как было-о! — пропела Нюрка.— Знаешь, я с кем сидела? — Нюрка лукаво посмотрела на Груню, помолчала немного, чтобы помучить свою бывшую подружку.— Ни в жисть не угадаешь... С Егором! Ну да, с твоим Егором,— ответила она, увидев недоверие в глазах Груни.— Он за ручку со мной поздоровкался. Говорит: как ты, Нюра, похорошела, влюбиться можно. Не веришь? Ей-богу, так и сказал. А чего ему? Он теперь холостой. Запросто его и в гости позвать, не откажется.

Будто ножом полоснули по сердцу Груни — так неприятны были ей слова Нюрки об Егоре. Одно упоминание о том, что Егор может с кем-то другим провести время, коробило ее, вызывало ненужную ревность, хотя она понимала, что ничего такого с Егором не произойдет, и что Нюрка просто треплется. Груня не стала больше ее слушать, попросила показать валенки и, купив их, заторопилась домой.

— Заходи ко мне,— пригласила Нюрка.— Посидим, побеседуем, наливочки выпьем. Мо-

жет, кто на огонек завернет... Невзначай с намеренья,— хохотнула она.

— Ладно, зайду,— пообещала Груня, хотя наперед знала, что не пойдет.

И вот тут, выходя из магазина, она увидела шедшего по улице Уфимцева. Он тоже заметил ее и первым поздоровался, как ей показалось, поздоровался приветливо, почти обрадованно.

И она не удержалась, крикнула вполголоса:

— На минутку, Егор Арсентьевич! Можно вас на минутку?

Он остановился, стал ждать, когда она подойдет. Она не могла не заметить, что он немного смущен.

— Слушаю.

— Вы не бойтесь меня, я по делу,— вдруг вырвалось у нее.

— Я и не боюсь тебя, Груня. С чего ты взяла?

Она многое могла бы сказать ему на это, но не здесь, не посреди улицы. И так уже люди поглядывают на них.

— Хочу обратно на ферму проситься, надоело дома без дела сидеть.

— Желание, конечно, хорошее,— ответил он.— Только у нас нет теперь должности заведующей.

— Да не заведующей, а дояркой. Куда уж мне в начальники! — Груня коротко рассмеялась, подняла глаза на Уфимцева, в которых снова таилась знакомая ему тоска.— Отдайте мне тети-сониных коров, раньше я не-

плохо справлялась, думаю, и теперь не подведу.

— Знаю, что не подведешь,— ответил Уфимцев. Что-то пробежало по его лицу, как тень от облачка. Он поглядел вокруг, словно искал кого, а может, просто собирался с мыслями, тянул время.— Ну что ж,— сказал он,— выходи завтра на работу, я подскажу бригадиру... Еще есть просьбы?

— Какие у меня могут быть просьбы? — удивилась она и даже усмехнулась. Груня уже осмелела, не прятала от Егора глаза.— Нет у меня к вам никаких просьб, Егор Арсентьевич, кроме вот этой... чтобы на работу.

Он посмотрел на нее, как ей показалось, чересчур пристально, даже что-то дрогнуло в его глазах, словно запросилось наружу. Видимо, хотел ответить на ее слова, но так и не ответил, промолчал, лишь кивнул головой, сказав: «До свидания», и пошел дальше.

Вот и все, и весь разговор. И зря она волновалась, ожидая этой встречи. Все произошло так, как и надо, как и следовало произойти. Только почему-то от встречи остался нехороший осадок на сердце, будто что-то она не то потеряла, не то позабыла, а что — никак не могла вспомнить.

4

Уфимцев шел на квартиру обедать, когда повстречался с Груней. Выдался такой сравнительно спокойный день, каких не так много было в жизни председателя колхоза, когда можно без спешки позавтракать и пообедать,

и вовремя, без помех поужинать и лечь спать. Жил он теперь у Никиты Сафонова,— ушел от Дашки сразу же после приезда из Колташей. Просторный дом Сафоновых стоял невдалеке от конторы колхоза. Уфимцеву отвели комнатку Нины, уехавшей учиться в Репьевку. Сам Никита с раннего утра и до позднего вечера возил корма к фермам, и Уфимцев почти не встречался с ним в домашней обстановке, а жена его, Татьяна, работавшая телятницей, среди дня наведывалась домой, кормила обедом своего младшего сына Ваську, сорванца и забияку, а заодно и Уфимцева, когда у него находилось время. Был у Сафоновых еще один сын, но он второй год нес солдатскую службу на границе.

Прошло всего десять дней после бюро парткома, на котором Уфимцеву объявили выговор, а ему казалось, что все это произошло давно, так давно, что уже и забылось. И не удивительно: эти десять дней оказались так заполнены делами, когда тут было предаваться воспоминаниям, ковыряться в своих чувствах и переживаниях. Он считал, бюро правильно поступило, объявив ему выговор за неявку на заседание. Не доехав тогда до Колташей, вернувшись в колхоз, он знал, что нарушал партийную дисциплину, но ничего с собой поделать не мог: интересы колхозников стояли выше его собственных. И этот заслуженный выговор не очень тяготил его.

Единственное, что беспокоило его, врывалось без спроса в забитую до отказа мыслями о колхозных делах голову, это — отношения с женой. Первое время он надеялся на

Стенникову, рассчитывал, что она поговорит с Аней, как обещалась на бюро. Однако прошел день и два, и три — Анна Ивановна молчала. Тогда он решился спросить ее, видела ли она Аню, но не спросил, раздумал: показалось странным, похожим на попрошайничество просить кого-то улаживать твою беду. Надо это делать самому, без посторонней помощи.

Но Стенникова не забыла своего обещания. Однажды, когда они оставались в кабинете одни, сказала:

— Была я у Анны Аркадьевны, говорила с ней... Подождать еще надо, Георгий Арсентьевич, не торопить события.

Уфимцев настороженно поднял на нее глаза.

— Сколько же можно ждать? — с горечью спросил он.— Полтора месяца жду... Вы ей рассказали о бюро? Рассказали, что не признали меня там виновным?

— Обо всем поговорили... Одно скажу: надо дать ей время успокоиться. Она еще болеет от всех этих... историй, но дело идет к поправке, к выздоровлению. Время вылечит, Георгий Арсентьевич.

Но Уфимцев не мог больше ждать, решил сам поговорить с Аней,— должна же она понять, что нельзя так дальше. В жизни случается и не такое, но прежде всего следует верить друг другу. Он, конечно, виноват в случившемся, но не в такой мере, чтобы делать из этого драму. Члены бюро поверили ему, поверили, что был оклеветан, почему не верит она?

И он пошел к Ане. Пошел под вечер, как и в прошлый раз, когда она не пустила его в дом. На этот раз не было солнца, его закрывали облака. Не было и грязи, стояла осенняя мозглая погода, когда нет дождя, но воздух все равно сырой, застоявшийся, как в непроветренном погребе.

Дети выбежали во двор, навстречу ему, повисли на нем, потом, схватив за руки, повели в дом, громко радуясь его появлению. И он шел с блаженной улыбкой, весь отдавшись чувству, охватившему его от встречи с Маринкой и Игорьком, от предстоящей встречи с Аней. Он так и вошел в дом, увлекаемый детьми; и очень желал, чтобы Аня видела эту сцену, видела, как дети рады отцу. К тому же сложилось все очень удачно: вроде бы не сам пришел, а дети привели его к матери. Как бы не дрогнуть очерствевшему сердцу, как не смягчиться!

Но в доме его встретила не Аня, а тетя Маша. Она стояла у стола, приткнутого к окну кухни, одетая довольно необычно: на ней резиновый фартук, рукава кофты закатаны до локтей, в руках большой нож. Если бы не кочаны капусты, сваленные в углу кухни, да не кадка с деревянными обручами, можно было подумать, глядя на суровое лицо тети Маши, что она приготовилась не к засолке капусты, а к встрече с разбойником. Что-то буркнув в ответ на приветствие Уфимцева, она громко застучала ножом — стала шинковать капусту,— делала вид очень занятого человека и старалась не замечать Уфимцева. И только по одному этому виду тети

Маши, по ее поведению, Уфимцев понял, что он тут лишний,— тетя Маша всегда была барометром настроения Ани.

Дети потащили его в комнату. Он вошел настороженно, ожидая встретить тут Аню, но Ани не было и здесь. Уфимцев сел на стул, огляделся, убедился, что в комнате осталось все так, как и при нем.

— А где мама? — спросил он.

— А мамы нету,— ответил Игорь, забираясь к нему на колени.— Она в Репьевку уехала. Приедет только завтра.

— Зачем она поехала в Репьевку? — спросил он Маринку, прижавшуюся к нему.

— На прием и передачу школьного опыта,— ответила Маринка словами, подслушанными у взрослых.

«На прием и передачу...» — улыбнулся Уфимцев фразе дочери и тому, как она серьезно произнесла ее. На него вновь нахлынула волна отцовской нежности к детям, он поцеловал Маринку в висок, подумав с тоской при этом, что дети растут, не заметишь, как станут взрослыми, а он, словно грешник, изгнанный из рая, скорбно ходит вокруг, смотрит издали на запретные для него врата, за которыми он раньше жил в счастье и блаженстве, и зависть, и раскаяние волками гложут его сердце.

Он пробыл с детьми два часа, ушел в вечерних сумерках, когда в домах зажглись огни, и тишину улицы нарушал лишь редкий брех собак да далекое тарахтенье трактора — Уфимцев видел за прудом прыгающие по небу лучи фар.

И если встреча с Аней не состоялась, сегодня, когда он шел домой обедать, произошла другая, незапланированная встреча, которой он не ждал и не искал: с Груней. После поездки в Колташи он как-то совсем забыл о Груне, забыл, что она живет в Больших Полянах. Просто ему было не до нее, она осталась где-то в стороне, за пределами его интересов, словно не было ее в его жизни.

Но когда Груня окликнула его и когда разговаривала с ним, он с удивлением отметил про себя, что вновь волнуется, как и прежде, при виде ее, и тоска, которую он опять обнаружил в ее глазах, вновь смутила его, вызвала чувство запоздалой вины. Было в Груне что-то такое, что невольно будило воспоминания, будоражило душу. Его обескуражила ее просьба,— он подумал, не поведет ли это к новым сплетням, не повлияет ли на сближение с Аней? Но, поразмыслив, дал согласие,— нельзя отказать человеку в желании работать. За себя же он был спокоен, а недоброй людской молвы решил не бояться, памятуя пословицу: все минется — правда останется...

Под утро пошел снег. Крупные мокрые хлопья ложились ровным слоем на землю, на крыши домов, липли к заборам, к плетням. Ветра не было, и в этом безветрии монотонно шуршал поток снега, когда не видно ничего за десять шагов от себя, и, кажется, само небо прохудилось, прорвалось, как решето, и действовало угнетающе, как бедствие.

Примерно такое чувство испытывал Уфимцев, идя утром в контору по рыхлому снегу,

слушая, как мычат коровы во дворах, тоскуя по табуну, по зеленым осенним отавам.

— Это еще не зима, это пока зазимье,— говорил ему Никита Сафонов, шедший на работу вместе с Уфимцевым.— Как говаривал мой дед, зима напоминает о себе, предупреждает нерадивых хозяев, что скоро придет. Дескать, готовьтесь, не забывайте обо мне...

На конном дворе уже вытащили из-под навесов сани, готовя зимнюю упряжь, уже Векшин на своем жеребце, запряженном в кошевку, проложил первый след по селу от пожарки до фермы. Но на второй день потеплело, пошел дождь — мелкий и нудный, побежали мутные ручьи, зашумели лога, как весной, и к вечеру снег сошел, остались лишь свинцовые лужи воды и грязь — на дорогах, во дворах, в поле,— зазимье кончилось.

Вскоре прекратились и дожди, но погода стояла неустойчивая; иногда в дымчатых, быстро текущих облаках проглядывало солнце, при его свете луга, поля и леса казались серыми, однообразными, их безжизненность воспринималась с грустью, с тоской об уходящем лете.

5

В такой вот пасмурный день Уфимцев ехал на тарантасе в Шалаши. Карий меринок не спеша шлепал по грязи, не мешал ему думать. Он давно не был у Юшкова, хотелось посмотреть, как идет строительство кормокухни, узнать настроение бригадира и его колхозни-

ков. Бригада Юшкова не отличалась масштабами, но народ в бригаде был работящий, подстать своему бригадиру. Уфимцеву очень хотелось создать тут обозно-щепной цех, где бы гнули обод и полозья, делали сани и колеса и другую хозяйственную мелочь, как было здесь до войны. Но не хватало людей.

Когда между голых вершин деревьев открылась шиферная крыша свинофермы, и до Шалашей осталось не больше полукилометра, ему встретилась подвода,— в телеге, запряженной парой припотевших лошадей, сидели три мужика. Телега поровнялась, он без труда узнал в них бывших шалашовских колхозников, ныне рабочих лесничества, приезжавших к нему весной по поводу своих заколоченных домов. И бородач Кобельков, который кричал ему, чтобы он не зарился на его дом, был в числе их.

Увидев Уфимцева, бородач, правивший лошадьми, вскричал: «Тпру-у!» и первым снял шапку, здороваясь с председателем колхоза.

— Мы к вашей милости,— крикнул он.

Уфимцев придержал мерина, подождал, когда мужики, сойдя с телеги, подойдут к тарантасу.

— В чем дело? — спросил он их грубовато, наперед зная, что других разговоров, как о домах, у них не будет. А тут он не отступит, дома не отдаст. Разве по суду, и то, как повернется дело: дома-то бесхозные уже пятнадцать лет.

— Да вот нарошно ехали к вам,— начал бородач Кобельков, сморкаясь и обтирая ла-

доныю бороду. Уфимцев заметил, что он чем-то смущен, не глядит прямо на него, а все куда-то в сторону. «Чего он так? Уж не за прошлую ли свою ругань стыдится?» — удивился Уфимцев.

— Говорите, что надо? Только покороче, у меня времени для балачки нет. Если опять о домах...

— Да не о домах, Егор Арсентьевич,— перебил его второй мужик. — Совсем не о домах.

Уфимцев не знал этого мужика, просто он запомнился ему по тому, как дотошно толковал в прошлый приезд законы, ссылался на разные статьи и постановления правительства; Уфимцев даже подумал тогда, не переодетый ли это юрист, нанятый домовладельцами, но его разубедили, сказав, что он — коренной шалашовец.

— А в чем тогда?

— Слышали мы, будто вы на зарплату переходите. Ну не то, что на зарплату,— мужик помялся немного,— закон вам этого не дозволяет, а, как бы сказать, твердая оплата трудодня. Конечно, исходя из доходов, из соответствующей наличности, но и независимо, что выработал,— тебе твердая ставка. И, как полагается, хлеб для пропитания.

— Кто это вам сказал? — спросил Уфимцев, пораженный таким началом разговора.

— Товарищ Шумаков, председатель нашего Совета,— охотно ответил мужик.— Был у нас на днях, подробно объяснил, что и как и какие на этот счет имеются указания сверху. На вашем колхозе примеры производил.

Мужик замолчал, уставился на председателя, дожидаясь ответа. Ждали ответа и другие мужики. Уфимцев недоумевал, что за нужда пришла им узнавать об оплате в колхозе.

— Твердой оплаты у нас пока нет, выдаем аванс,— ответил он.— За нынешний год, думаем, обойдется по два рубля. А с нового года перейдем на твердую денежную оплату — три рубля за трудодень.

Мужики обрадованно закивали головами, заулыбались, бородач даже полез пятерней в затылок по старой русской привычке.

— Три рубля — это деньги, парень,— сказал он.— Деньги говорю. Не скоро найдешь, на полу не валяются.

— Ну-к, что ж? В других местах и не так еще платят,— возразил младший из мужиков.

— В других местах,— передразнил его бородач.— А тут — до́ма... Знаешь ли ты, почем рубль ныне стоит?

Мерин нетерпеливо переступал с ноги на ногу, его манило близкое жилье. Уфимцеву тоже не терпелось ехать.

— А вам к чему это знать? — не удержался он спросить мужиков, подбирая вожжи, готовясь тронуть мерина.

— Как — к чему? — удивился мужик-законник.— Говорится, рыба ищет где глубже, человек — где лучше.

И тут словно кто по лбу ударил Уфимцева, его, как молния, озарила мысль, которой он не мог сразу поверить. С трудом сдерживая волнение, он бросил вожжи, повернулся к мужику, сдвинул кепку на затылок.

— Погоди... Кстати, как тебя зовут?

— Путенихин. Гордей Иванович Путенихин.

— Фу, черт! — выругался Уфимцев.— И верно Путенихин, вспомнил теперь.— Он вылез из тарантаса, подошел к мужикам, натужно улыбаясь, еще не веря себе.— Если я правильно понял, Гордей Иванович, вы не прочь вернуться в колхоз?

— Правильно понял, Егор Арсентьевич, правильно! — вскричал Путенихин, радуясь тому, как просто все получилось, без лишней трепотни.— Раз твердая оплата будет, какой может быть вопрос? К себе в колхоз пойдем, нам в чужие края не с руки, не те годы... Примите, чай, не откажете?

Теперь пришла очередь радоваться Уфимцеву: вот и люди для обозного цеха! Да еще какие люди: прежние довоенные мастера. «Рыба ищет где глубже»,— вспомнились ему слова Путенихина. «Вот бы сейчас сюда Пастухова,— злорадно подумалось ему,— ткнуть бы носом, как кошку в мокрое место... Материальная заинтересованность, товарищ Пастухов, это прописная истина. Вот она, на примере этих мужиков. Ты крестьянину обеспечь условия жизни, он тебе гору свернет. И из деревни тогда его силой не выгонишь».

— Примем, конечно,— ответил он Путенихину, увидев, что мужики ждут его решения.— А как быть с лесничеством?

— А что нам лесничество? — недовольно крутнул головой бородач Кобельков.— Мы с ним не венчанные. Как сошлись, так и разой-

демся... Да, по правде сказать, надоело в бараках жить. В свои дома охота.

— Сколько же вас, семей, думает вернуться?

— Да десяток-то наберется, а то и поболе,— ответил Путенихин.— Как вот договоримся о работе и о прочем... А работать мы можем, не смотри, что седеть начали, силешка еще есть.

— Верю, что можете и умеете... А молодежь как? — поинтересовался Уфимцев.— Молодежь пойдет в колхоз или в лесничестве останется?

— Молодежь — как хотит,— ответил Кобельков.— А мы — домой, на отцовские поселения.

— Ну что ж,— сказал Уфимцев, сдерживая в себе радость,— тогда давайте знакомиться, раз решили породниться, одной семьей жить.

Он пожал руку Путенихину, потом бородачу Кобелькову, назвавшему себя Семеном Николаевичем, наконец младшему из мужиков — Зотову Петру.

— Тут без поллитры не обойдешься, Егор Арсентьевич,— весело, с хохотком вскричал Путенихин.— Раз произошло такое сватовство, ставь по закону на стол, не скупися.

— И четверти не жалко,— ответил в тон ему Уфимцев.— А теперь, дорогие друзья, прошу всех на бригадный двор для окончательного разговора.

Когда мужики завернули своих лошадей, Уфимцев, уже сидя в тарантасе, крикнул бородачу Кобелькову:

— Семен Николаевич, а помнишь, как ты меня честил? Как стращал не подходить к твоему дому, а то ненароком задавит?

Кобельков помотал в смущении головой, словно бы удивлялся тому, какой он был тогда дурак, и сказал Уфимцеву:

— Ладно, Егор Арсентьевич, ладно тебе. Кто старое помянет... Давай по-новому будем жить. А за старое — прости, пожалуйста, сними грех с души.

И он, сняв шапку, низко поклонился изумленному председателю колхоза.

6

Домой он вернулся на второй день к вечеру. И здесь его ждала еще одна приятная новость: приезд на постоянную работу в колхоз зоотехника Первушина. Олега Первушина Уфимцев знал по совместной работе в управлении. Женат был Первушин на большеполянской Верочке Колывановой, и она давно, сразу после отъезда Уфимцева в колхоз, звала мужа переехать в Большие Поляны, где у нее жили отец с матерью. Уфимцев помогал в этом Вере, как мог, ему хотелось заполучить Первушина, да тот и сам не особенно возражал, но не давал согласия Пастухов, не отпускал из аппарата управления.

На следующее утро Первушин зашел в кабинет Уфимцева и, приложив ладонь к шляпе, шутливо представился:

— Товарищ председатель колхоза, зоотех-

ник Первушин прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы.

Уфимцев вышел из-за стола, крикнул, смеясь:

— Вольно, большеполянский зять!

Они радостно потискали, похлопали друг друга и, пройдя в обнимку по кабинету, уселись за стол.

— Как тебе удалось вырваться? — спросил Уфимцев, когда радость от встречи немного улеглась.

— Акимов помог. Пришлось сходить к нему. Он позвонил Пастухову и предложил оформить перевод.

— Ну, а тот что? Как реагировал?

— И-и, было визгу! Кричал: носитесь вы с этим Уфимцевым, как поп с кадилом. Может, и меня к нему в гувернантки определите?.. Все управление два дня в кулаки прыскало.

— Это хорошо, что ты приехал. Вот как нам нужен зоотехник! — Уфимцев резанул по горлу ребром ладони.— Фермы закреплены за Векшиным, моим заместителем, а он...— и Уфимцев безнадежно махнул рукой.

— Не тянет? — полюбопытствовал Первушин.

— Что не тянет, это полбеды. Не тем занимается, чем надо... Поживешь, увидишь... А у меня все надежды связаны с животноводством. И будущее колхоза я вижу как крупное мясо-молочное хозяйство, где фермы, фермы — десятки современных помещений с тысячами голов свиней и крупного рогатого скота.

Он встал, заходил по кабинету; Первушин следил за ним, видел, как тот волнуется.

— Ты посмотри, в каких условиях находится наш колхоз,— Уфимцев остановился у окна, присел на подоконник,— всюду вокруг леса, в них прекрасные выпасы, сенокосы, естественные водопои,— одним словом, такое раздолье, будто нарочно создано для развития животноводства.

Он помолчал немного, потом смущенно посмеялся:

— Я никому в колхозе не говорил так прямо об этом, о своей мечте, первому тебе. Так что учти — теперь ты мой невольный сообщник.

— Согласен быть сообщником, только почему невольным? Мне и самому хочется взяться за настоящее дело, осточертело писать в конторе бумажки.

— Ну, спасибо тогда,— Уфимцев пересел на стул.— Должен признаться тебе, теперь как сообщнику, я уже ставил вопрос перед управлением, говорил с Пастуховым о переводе колхоза с зернового направления на мясо-молочное, но получил отказ: давай зерно! Я понимаю, зерно — основа сельского хозяйства, зерна нет — и хозяйства нет, мы и дальше будем хлеб сеять и добиваться хороших урожаев на наших полосках, разбросанных по лесам, но надо, чтобы посевы наши в основном служили животноводству, его высокой продуктивности... Обидно, конечно, что не понимают в твоем управлении,— извини, в нашем,— и прежде всего Пастухов, что это

надо, обязательно надо, если мы хотим всерьез, не на словах, а на деле, заниматься специализацией хозяйств, исходя из условий, в коих эти хозяйства находятся.

— Зря ты об этом с Пастуховым,— сказал Первушин,— он человек консервативный, живет по инструкции. В область надо бить, там поймут.

— А мы кое-что уже начали делать,— продолжал Уфимцев.— Прежде всего с кормами: создали полуторагодовой запас сена, заложили в достатке силоса, засыпали зернофураж, чего раньше не было, хотя и пришлось повоевать за него. Клевера поднялись неплохо, под покров сеяли, луга начали улучшать!.. Произвели выбраковку коров, пусть и попало мне за это, ну, да это не так важно, главное — дело сделали... Теперь задача — поголовье увеличить.

— Племенной скот надо приобретать: хряков, бычков, телочек,— вставил Первушин.

— Очень даже надо. Деньги у нас на это найдутся, правда, немного на первых порах, но... начинать закупать скот надо... И еще такая мечта: с будущего года начать строить коровник голов так на четыреста,— современный, с механизмами. С весны организуем свой кирпичный заводик — глина рядом, а бревна на доски зимой заготовим, пошлем бригадку в лес... Как тебе это? Не кажется утопией?

— Не кажется... А как с помещением для свиней, раз зашел разговор о мясе?

— Свиноферма у нас в Шалашах, помещение прекрасное, сам увидишь. Сейчас там кормокухню достраивают... И люди на ферме

подобрались хорошие, думаю, дело пойдет, свинина будет. Вообще Шалаши у нас с большим будущим.— Он не стал ему рассказывать о позавчерашней встрече с бывшими шалашовцами.— Вот движок там надо поскорее поставить, не забыть сказать механику, чтобы завез дизелек, пусть им электричество светит, а то сидят с керосиновыми лампами... И лесопильную раму надо восстановить, коль пришла пора строиться, начинать менять облик села и Шалашей... Ну, как тебе мои планы? По душе или нет? Ведь вместе придется претворять их в жизнь, трудностей будет много.

— По душе, Георгий Арсентьевич. А работать я люблю, и трудностей не боюсь.

— Значит, по рукам?

— По рукам!

Они встали, пожали друг другу руки — уже без улыбок, без смешков, а серьезно, как серьезно было все, о чем они говорили.

Вызванному в кабинет Векшину Уфимцев сказал:

— Вот, познакомься: Первушин Олег Степанович, прислан к нам на должность зоотехника. Передай ему все дела по животноводству, а сам займись хозяйственными функциями: снабжение, транспорт, строительство. Ясно?

И, глядя на подобострастную улыбку, с какой Векшин здоровался с Первушиным, Уфимцев подумал, что на какое-то время он теперь избавится от частого общения с Векшиным. По крайней мере, до отчетного собрания.

7

Разговор со Стенниковой не прошел бесследно для Векшина. Хотя он и хлопнул дверью перед носом секретаря партийной организации, показав свою непримиримость в борьбе с Уфимцевым за интересы колхоза, он внутренне чувствовал: борьба эта уже бесцельна, Уфимцев одолел его, взял верх. Векшин растерял почти всех единомышленников, да и нет у него теперь для дальнейшей борьбы таких козырей в руках против Уфимцева, какие были прежде, а старые оказались битыми. Теперь одна надежда на письмо в ЦК.

После бюро парткома, закончившегося не в его пользу, он находился в постоянной тревоге, жил, как зафлаженный волк, когда круг охотников все сужается и сужается, и тот всем существом своим ощущает неотвратимость конца, неизбежность расплаты.

Иногда в минуты отчаяния к Векшину приходила спасительная мысль, утешительно мелькала в мозгу, как огонек перед заблудившимся путником в зимнюю вьюгу: смириться, признать себя побежденным, встать на сторону Уфимцева, работать над осуществлением его планов, но он отбрасывал от себя эту мысль, как душившее одеяло в жаркую летнюю ночь,— слишком далеко зашла игра, затянула, засосала в болото ненависти ко всему, что было связано с Уфимцевым, что противоречило его желаниям. Он знал, что не смирится, не склонит головы. У него пропал интерес к работе — так уже было однажды,— пропал интерес ко всему, чем жил раньше,

осталась одна злоба, желание отомстить за свое унижение.

Навещало его иногда и ощущение реальности: он сознавал, что самое лучшее — уехать, бросить все и уехать из колхоза куда глаза глядят,— свет велик, нашел бы себе в нем место. И был уверен, что Уфимцев не будет задерживать, наоборот, обрадуется — только уезжай! Но он не мог так просто уехать,— это было бы равносильно признанию поражения, а поражения он не мог допустить: оно не давало бы спокойно жить, висело бы над ним, как проклятье.

После вызова к Уфимцеву и знакомства с прибывшим в колхоз зоотехником Первушиным, Векшин понял, что по воле председателя он падает все ниже и ниже, по существу Уфимцев отстранил его от должности заместителя, превратив в обычного завхоза. У него еще хватило сил, чтобы не выдать себя, улыбаться зоотехнику, даже сказать ему нечаянно сорвавшуюся фразу о молодом поколении, идущем на смену старой гвардии.

Он тут же ушел домой. Он был страшно угнетен и раздосадован всем происшедшим — и своим теперешним положением, и этой дурацкой фразой, которую произнес перед зоотехником. Он вспомнил разговор с ним и свое неуместное подобострастие, словно у него вырос хвост и он вилял им, как шелудивая дворняга. Все это было противно и нелепо сверх меры.

Подойдя к дому, он на миг остановился; ему вдруг захотелось оправдаться перед собой, вернуться в кабинет председателя и ска-

зать то, что должен был сказать, выпалить прямо в лицо Уфимцеву и этому красуле зоотехнику, что он думает о них, сбить с обоих спесь какой-нибудь резкой фразой, такой, чтобы они почувствовали, с кем имеют дело. Но постояв, подумав, понял, что не вернется и ничего такого не скажет,— это все равно, что пытаться прошибить лбом стену, вставшую на пути, когда можно ее перелезть,— приставить лестницу и спокойно перелезть.

Жена Паруня не очень удивилась его неожиданному возвращению. Она задумчиво сидела за столом, раскладывала карты, видимо, ворожила, угадывала чью-то судьбу.

— Забыл что-нибудь? Или куда поехать собрался? — спросила она, не отрываясь от карт.

Векшин, не раздеваясь, как был в пальто и шапке, присел к столу, бессмысленно уставился на нее. Осеннее солнышко било в окно, высветлило клеенку с картами, тощие руки жены, золотое кольцо на безымянном пальце.

— Ничего не забыл,— ответил он хмуро.— С чего ты взяла?

Паруня подняла глаза, посмотрела неохотно на мужа.

— Вижу, опять подрался с Уфимцевым. Опять он тебе бока намял. Вертит тобой, как мальчиком, а ты поддаешься.

— Да не поддаюсь я! — отмахнулся от нее Векшин.— И не поддамся никогда!

Она долго смотрела, как разложились карты, потом сгребла их в кучу.

— На тебя бросала, нехорошо получается.

Сколь ни кидаю, все пиковая дама на сердце ложится... Кто бы это мог быть?

Паруня задумалась, собрала карты в колоду. Векшин смотрел бездумно на нее,— он устал от всех этих передряг, ему бы лечь сейчас в постель, закрыть голову подушкой,—и ничего не слышать, ничего не видеть, просто забыться на время, собраться с мыслями.

— Я знаю, кто такая пиковая дама! — Резкий голос Паруни вывел его из забытья.— Это жена Уфимцева. Да-да, его жена. Вот кто стоит на твоем пути, в ней собака зарыта! Пока она тут, Уфимцев не расстанется с колхозом, будет властвовать, тобой помыкать.

Что-то такое, особенное, уловил в ее голосе Векшин, заинтересованно поднял голову; у него пропало безразличие, сонное настроение.

— Ну-ну? — только и мог вымолвить он, подгоняя Паруню.

— Вот тебе и ну!.. Надо, чтобы жена его с детьми уехала отсюда. Куда — ее дело, но должна уехать. Тогда Уфимцев не останется здесь, погонится за ней — дети ведь все-таки, трое их будет. Зверь и тот детей своих не бросает... И тогда что ему наш колхоз? Как говорится, прощай — не скучай, уйду — не ворочуся.

От слов Паруни дух захватило у Векшина. Он с уважением, даже с нежностью посмотрел на жену. Надо же, такая простая мысль как-то не приходила ему в голову. А осуществить ее — ничего не стоит. Только следует убедить жену Уфимцева, что муж не прекратил своего распутства, и она уедет... Но

как ее убедить в этом? Если самому пойти — она не поверит,— в селе знают, он не в ладах с ее мужем. Значит, следует действовать через лиц, близких к ней, чтобы наверняка поверила.

Но вдруг скис, опустил руки, посмотрел безнадежно на Паруню.

— Не уедет Уфимцев отсюда, ни при каких условиях... Он патриотом колхоза стал, дом себе строит. Жена уедет — на Груньке женится, ее в дом приведет.

— Дом может и сгореть,— как бы между прочим, как о чем-то несущественном, второстепенном сказала Паруня.— Стружек там много, они легко горят, долго ли до беды... Кто-то пройдет, уронит спичку, вот тебе и пожар, и нет дома.

Пока она говорила, Векшин весь замер от страха, чувствовал, как на голове щетинились волосы. Что она болтает? Не приведи бог, кто-нибудь услышит. Он даже оглянулся на окно во двор, к которому сидел спиной, но во дворе никого не было.

— Перестань молоть,— сказал он ей строго, встал из-за стола, поправил шапку и пошел во двор.

Зайдя под навес, разыскал топор, намереваясь наколоть дров,— жена еще утром просила об этом. Под навесом было сухо, покойно, он снял пальто, выкатил березовую чурку, поставил «на попа», ударил с выдохом; чурка разлетелась на две половинки, он расколол и их, отбросил колотые плашки в сторону. Потом выкатил вторую чурку, третью, но сколь-

ко ни колол дрова, у него не выходили из головы слова жены о срубе Уфимцева. «Стружек там много, они легко горят»,— теснилось у него в мозгу, пело на разные голоса, делилось на слоги, вырывалось с каждым взмахом топора.

Исколов порядочную кучу дров, он сел на колоду отдохнуть, закурил и задумался, решил разобраться в своих мыслях, а заодно обдумать слова жены в спокойной обстановке. Теперь они не казались ему уже такими страшными, как в первый раз, когда услышал их. И чем дольше думал, тем заманчивее казалось претворение слов Паруни в жизнь. Кинуть ночью банку с керосином — и нет сруба. Кто сделал — ищи-свищи ветра в поле!.. А по колхозу пустить слух, что таким путем колхозники выражают свой протест председателю: за счет колхоза дом строит, колхоз обкрадывает.

Пока курилась сигаретка, Векшин успел придти к твердому убеждению в необходимости такой меры. Правда, где-то внутри копошилась мысль, что пожар не испугает Уфимцева и он не побежит из колхоза, однако ненависть к председателю, желание отомстить ему за все беды и унижения, затмевали эту здравую мысль, он не мог уже отступить от принятого решения. Осталось нерешенным, кому поручить это щекотливое дело. Сам он не мог,— и так могут подумать на него, когда это случится, так что ему на эти дни следует куда-нибудь уехать, быть вне подозрений. Если попросить Паруню — она не откажется, сделает, но он боялся впутывать в эту исто-

рию ее: вдруг все выплывет наружу, тогда не сдобровать и ему.

И тут он вспомнил о Тетеркине: вот кто ему нужен, вот кто может это сделать! Он знал о ненависти Тетеркина к Уфимцеву и не сомневался в согласии.

Он не пошел на работу, весь день пробыл дома: колол дрова, подпирал укосинами валившийся забор, чинил ворота, чистил двор от мусора — и так провозился весь день.

А вечером, когда смерклось и село готовилось ко сну, пошел на ферму к Тетеркину.

8

Тетеркин не ожидал прихода Векшина. Обычно, когда доярки, закончив вечернюю дойку, расходились по домам, никто больше не появлялся на ферме, разве ребята из «Комсомольского прожектора». Тетеркин оставался полным хозяином фермы. В шесть утра приходил скотник, начинал уборку, и Никанор Павлович шел домой, к горячим лепешкам Аниси.

Хорошо устроился Никанор Павлович, век ему благодарить Петра Ильича! За ночь выспится, пока сторожит, а днем — свеженький, в своем хозяйстве.

А чтобы не застали его спящим комсомольцы из «Прожектора», он делал так: выложит на стол сухари, поставит рядом котелок с водой, подсядет к сухарям поближе, нахлобучит шапку поглубже, подопрет рукой голову и спит, как дома. Идут мимо, смотрят,— горит свет в сторожке и сторож сидит,

значит, бодрствует на посту. Если надумают проверить, лишь стукнут дверью, сторож сразу просыпается, берет сухарь, макает в котелок с водой и начинает потихоньку жевать,— видите, только сел перекусить, сейчас с обхода.

Вот как хорошо устроился Никанор Павлович! Жил припеваючи за широкой спиной Петра Ильича Векшина. Жил надеждами, что скоро кувыркнется и покатится кубарем из колхоза Уфимцев. Вот тогда будет жизнь, не в пример теперешней!

Однако надежды на скорое избавление от Уфимцева не оправдались, и тогда Никанор Павлович струхнул: как бы теперь Уфимцев не взялся за него, не привлек к ответственности за кляузы, за воровство зерна. И он стал подумывать о том, не лучше ли убраться из колхоза, чтобы остаться целым и невредимым...

Он только что обошел ферму, проверил запоры на воротах, замок на сепараторной, хотел идти к стогам сена, но поленился, лишь мельком глянул на них, темнеющих на чуть брезжущем небе, и пошел в сторожку. Котелок с водой уже стоял на столе, он положил к нему горсть сухарей, взяв их из мешочка, и только уселся, не успел еще как следует устроиться, опереться щекой на подставленную руку, как дверь тонко пропела, в сторожку вошел Векшин. Теркин машинально схватил сухарь, макнул в котелок и понес уже ко рту, когда узнал в вошедшем Петра Ильича.

— Ты что, не успел поужинать? — спросил Векшин, подавая ему руку.

— Да вот, что-то сухариков захотелось,— замялся Тетеркин, положил сухарь, пожал холодную руку Векшина, но тут же нашелся: — Живот болит, поносом мучаюсь.

Векшин огляделся. В маленькой сторожке мебели было не густо: стол да две табуретки; он взял табуретку, поставил поближе к кирпичной печке — от печки несло теплом.

— От поноса есть верное средство,— сказал он, садясь и ощупывая ладонями бока печки.— Черника... Черничные ягоды.

— Где их теперь возьмешь,— вздохнул Тетеркин.— Сухари вот, они тоже... скрепляют.

Векшин ничего не ответил, пристально посмотрел в лицо Тетеркина, словно по нему хотел определить, как Никанор Павлович воспримет его предложение. Но лицо Тетеркина ничего не выражало, он уже оправился от испуга и сидел, скорбно опустив голову, прижав руки к животу.

— Что нового на ферме? — спросил Векшин, хотя по тону вопроса чувствовалось, его это мало интересовало,— он не нашел еще подходящего момента для настоящего разговора и, как говорят спортсмены, делал разминку.

— Да как сказать,— пожался Тетеркин, будто и впрямь затруднялся с ответом,— вроде ничего нового нет, живем по-старому.

— Васькова работает?

— Работает.— Тетеркин неожиданно оживился, перестал держаться за живот.— Третьеводни прихожу, смотрю, она Сониных коров доит. Анисья сказывала, пришла с запиской от самого Уфимцева.

— Ну вот, а ты говоришь, новостей нет,— упрекнул его Векшин.— Подбирается к нам с тобой Уфимцев, скоро в открытую пойдет. Ты думаешь, Груньку он зря сюда посадил?

Тетеркин неопределенно пожал плечами, встревоженно уставился на Векшина. Векшин оглянулся на дверь, перенес табуретку к столу, поближе к Тетеркину.

— Теперь нам от Уфимцева житья не будет. Он нам все припомнит: и письма, и заявления. Можно легко и под суд угодить... Особенно тебе.

Глаза Тетеркина округлились от страха, он снял шапку, провел ладонью по лысине, помутневшей от испарины.

— Как же так? — растерянно проговорил он.— Почему меня? Разве я один писал? Ведь ты, Петр Ильич, сам говорил... сам заставлял...

— Тш-ш-ш,— Векшин вновь оглянулся на дверь, поднес ладонь ко рту Тетеркина.— Не паникуй... Ничего этого не будет, если мы добьемся, чтобы Уфимцев исчез из колхоза... Да нет, ничего не случится, не волнуйся,— сказал он, заметив, как отшатнулся Тетеркин при последних его словах,— найдем другие способы. Перво-наперво, жену его надо спровадить из колхоза,— ну, это я беру на себя. А другой способ...

Тут Векшин опять оглянулся на дверь, на незанавешенное окно, придвинулся еще ближе к Тетеркину и прошептал:

— Сжечь его сруб. Сжечь, чтоб и помину не было!.. Тогда он уедет от нас навсегда.

Тогда мы будем хозяевами: я — председатель, ты — заместитель. Понял?

Что-то вроде улыбки изобразилось на длинном лице Тетеркина, но сквозь улыбку проглядывал страх — он был в глазах его, в отвисшей челюсти.

— Не уедет он... Другой будет строить.

— А мы и другой сожгем!

— А кто... кто будет... ну это... жечь? — спросил он, заранее страшась услышать то, о чем уже догадывался, но чему противился всем нутром.

— Ты, конечно,— спокойно ответил Векшин.— Тебе это сподручнее. Отлучился ненадолго с дежурства — и концы в воду. На тебя никто не подумает.

— Нет! Нет! — испуганно, в отчаянии замахал руками Тетеркин.— Я не согласный на такое дело. Лучше я уеду... брошу все и уеду. Пусть без меня... как хотите.

— Ну что ж,— Векшин оттолкнулся от стола, посмотрел презрительно на вспотевшего от испуга Тетеркина,— твое дело. Только помни: вряд ли уедешь, наперед в тюрьму сядешь. Думаешь, Уфимцев тебе простит? Он все твои проделки знает, а чего не знает — и подсказать можно... И дома своего пятистенного лишишься, кое-кому тоже известно, где и как ты лес на него брал. Так что выбирай, что тебе больше нравится: в тюрьме сидеть или... дело сделать.

Тетеркин сидел бледный, не спуская испуганных глаз с Векшина. Его бил озноб, дрожали лежащие на столе руки, дрожали губы.

— Боюсь я этого дела, Петр Ильич,— сказал он, набравшись духу, видя, что попал в лапы Векшина, из которых не так-то просто вырваться теперь.— Шибко боюсь... Если доберутся — тут тюрьмой пахнет.

— С чего ты стал такой пужливый? — усмехнулся с издевкой Векшин.— А ты не бойся. Ты вот так сделай.

Векшин опять наклонился к Тетеркину, зашептал что-то, зачертил ногтем по некрашеному столу, потыкал рукой в сторону пруда, ласково погладил по спине своего собеседника.

Уже пропели полуночные петухи, над Кривым увалом встали Стожары, когда из дверей сторожки вышел Векшин, постоял с минуту, присмотрелся к ночной темноте и пошел не спеша в село.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

— Едут! Едут!

С улицы донеслись приглушенные радостью крики, далекий пляшущий перезвон колокольцев, который становился все ближе и ближе, громче и настойчивее.

Уфимцев проворно поднялся, подошел к окну, поднял шторку. Первой появилась пара правленческих лошадей, запряженных в тарантас, увешанных разноцветными лентами; ленты были и в гривах, и в хвостах коней, и на высокой крашеной дуге коренника. Залива-

лись колокольцы под дугой, нежно пели бубенцы на конской сбруе, лихо выбрасывал ноги коренник, скакала и гнула шею пристяжная. А на козлах сидел, высоко подняв гарусные вожжи, сам большеполянский бригадир, Павел Кобельков; он без шапки, из-под его распахнутого пальто выглядывал большой алый бант.

В тарантасе, позади Кобелькова, сидели, прижавшись друг к другу, Юрка Сараскин и Лида, дочка Максима. Уфимцев не успел рассмотреть молодых, как кони промчали тарантас мимо окон, за первой парой коней проскочила вторая, за ней — третья, гремя бубенцами, потряхивая лентами.

В кабинет вбежала запыхавшаяся, сияющая уборщица Катя:

— Егор Арсентьевич, проехали...

— Видел,— отозвался Уфимцев.

Ему предстояло идти в дом жениха, поздравить молодых. Жених и невеста заранее приглашали председателя, но он пошел бы и без приглашения: женился один из его помощников, к тому же на племяннице. Да и Архип Сараскин, отец жениха, целую неделю не давал покоя: вначале с транспортом — не захотел, чтобы молодые ехали на машине в сельсовет на регистрацию. Уфимцев договорился с Пестряковым, тот давал свою «Победу», нет, подавай ему лошадей, дескать, хочу сыграть свадьбу по старинному обычаю. Потом увлекся «ширкунцами», как называл он бубенцы, собирал их по всему селу, нашивал на сбрую. Под конец пристал, чтобы председатель непременно сам ехал с молодыми в

сельсовет, и хотя дружками жениха взялись быть бригадир Кобельков и агроном колхоза Попов, Архипу этого казалось мало; он заходил каждый день в контору, торчал у двери кабинета. Наконец отстал, взяв с председателя слово быть на свадьбе.

Лишь только он вышел из конторы, навстречу вынеслась парная упряжка из свадебного поезда. Восседавший на козлах тракторист Серега Пелевин, увидев председателя, круто завернул коней, осадил перед Уфимцевым, крикнул, рисуясь: «Садись, прокачу!» Уфимцев, смеясь, отмахнулся от него, перешел с дороги ближе к домам. Серега в недоумении посмотрел на председателя, крикнул: «За тобой же нарочно ехал!», но видя, что Уфимцев идет, не обращает на него внимания, гикнул на коней и помчал обратно под заливной звон колокольцев.

Время было за полдень, короткий осенний день шел к исходу. Уже горели Коневские леса от заходящего солнца, когда Уфимцев подошел к дому Сараскиных. По гулу, шедшему из окон, он заключил, что свадебное гуляние в разгаре.

Он вошел в переднюю избу, в которой хлопотливо суетились раскрасневшиеся бабы-стряпухи, соседки Сараскиных. Они приветливо заулыбались запоздавшему гостю.

— Вот и Егор Арсентьевич заявился! Раздевайтеся. Пожалуйте в горницу.

Снимая пальто, он прислушался: в горнице женские голоса негромко и ладно выводили старинную свадебную песню:

Не было гостей,
Не было гостей,
Да вдруг наехали,
Да вдруг наехали...

Разноголосый говор, смех, звон посуды оглушили его. Кто-то крикнул — ему показалось, что Физа, жена Максима: «Дядюшка припожаловал. Штрафную ему!» Вокруг обрадованно зашумели, закричали, повскакали с мест, громче полилась песня; разнаряженный в голубую рубаху и вельветовые шаровары Архип, отец жениха, суматошно забегал, засуетился, поднес председателю полный стакан водки, но он отвел его руку, принял рюмку от Кобелькова, поднял ее вверх, как бы прося тишины,— ему хотелось сказать тост, сделать маленькое напутствие молодым, но песня не прекращалась, гости лезли к нему со своими рюмками, и он шел вдоль стола, чокался, улыбался, что-то отвечал на шутки, потом вновь поднял рюмку, но теперь уже в сторону молодых, кивнул Юрке с Лидой и выпил. Кто-то из женщин подал ему вилку с соленым груздочком, он взял ее, и только приготовился отправить груздочек в рот, чтобы заглушить горечь водки, как включили свет, и он, взглянув на женщину, узнал в ней свою сестру Настасью. Широко раскрыв руки, он уставился удивленно на нее.

— Это ты, нянька? Когда ты появилась?

— Признал наконец-то! А я думала уж позабыл, какая я.

Он обнял ее, так и не выпуская вилки с груздем из рук. Сестра была старше его на одиннадцать лет, он очень любил ее в детстве,

кажется, не меньше матери. Она начала нянчиться с ним чуть ли не со дня его рождения, он оставался на ее попечении почти все время — и когда взрослые находились в поле, на колхозных работах, и когда возились в своем хозяйстве. Он так привык к ней, что не отходил ни на шаг, спал с ней — ни с кем другим спать не хотел, звал ее не по имени, а нянькой, и после, будучи уже взрослым, не мог отвыкнуть от этого слова. Сестра выглядела еще очень молодо в свои сорок пять лет: невысокая, полногрудая, с черными густыми бровями, она чем-то походила на Физу; неудивительно, что Егор потом привязался к Физе, когда Настасья вышла замуж и уехала из колхоза куда-то под Оренбург.

— А где Кузьма? — спросил он ее про мужа, выпуская из объятий.

— Тут. Разве он от меня отстанет?

А Кузьма уже отодвигал стул, разглаживая усы, готовясь целоваться с шурином. Он высокий, как и Егор, немножко сутулый, лобастый, словно бычок; чувствовалось, Кузьма не сидел тут зря, не ловил ворон,— выйдя из-за стола, чуть покачиваясь, он обнял Егора, завопил истошно:

— Шуряк! Дорогой мой! Сколько лет, сколько зим... Давай выпьем за встречу.

Он потянул Уфимцева к столу, но Настасья перегородила ему дорогу:

— Подожди, Кузьма, дай мне поговорить с Егором. А ну-ка, где у тебя ухо?

Уфимцев, расплывшись в улыбке, наклонился к ней, подставил ухо в надежде, что она ему хочет что-то сказать по секрету. Но Нас-

тасья ухватила ухо пальцами и больно вывернула:

— А ну, расскажи, где у тебя жена? Где Аня? Почему ты на свадьбу племянницы пришел один?

Она драла его за ухо, как в детстве, когда он проказничал, ему было страшно стыдно перед гостями,— все же это видели, кто-то уже смеялся, кто-то кричал: «Так его, так!» Он разжал ее пальцы, отвел руку:

— Не надо, нянька. Потом... потом...

Он заметил, что все еще держит вилку с груздем, и сунул ее обратно Настасье — теперь прошла необходимость в закуске. Прошло желание и идти за стол,— Кузьма тянул его, а он упирался, не смея поднять глаз на сидящих за столом людей. Ему нестерпимо захотелось удрать со свадьбы, смыться куда-нибудь, но он понимал, что этого делать нельзя, и морщился от досады на себя, на сестру, так не во время, всенародно заведшую разговор о том, что тяготило его и так.

Выручил его Архип. Он поднялся за столом, крикнул:

— Ну-те, бабы, величальную ему. Величальную нашему председателю Егоргию.

И сразу же грянула веселая, задорная песня:

Розан мой, розан,
Виноград зеленый.
Кто у нас хороший?
Кто у нас пригожий?
Егор у нас хороший,
Арсентьевич пригожий.
Розан мой, розан,
Виноград зеленый.

Жена Архипа, Аксинья, еще крепенькая старушка, одетая в старинный канифасный сарафан, поднесла Уфимцеву рюмку на подносе, поклонилась в пояс:

— Набольшому болярину Егоргию Арсентьевичу... Не обессудьте, выкушайте.

Уфимцев взял рюмку, выпил, поставил ее на поднос, посмотрел по сторонам, не стоит ли кто наготове с закуской, но никто не подавал ему вилки с груздочком или соленым огурчиком, все смотрели на него, ждали чего-то. Он недоуменно уставился на неотходившую Аксинью.

— Деньги клади,— шепнули ему сзади.— На поднос клади.

Он обернулся, увидел бригадира строителей Герасима Семечкина.

— А у меня нет денег,— сказал он простодушно.— Не взял.

Все вокруг засмеялись, заохали, заахали, кто-то крикнул:

— Не скупись, председатель, клади денежки, плати за величанье.

— Правду говорю: нету у меня с собой денег.— Уфимцев хлопнул себя по карманам.— Обыщите, если не верите.

Вокруг опять засмеялись, закричали: «Не отступайся, Аксинья, не отступайся, пусть откупится!» За столом, видимо, считали, что так и полагается, председатель ведет игру, нарочно не платит, тянет. А у него и в самом деле не было с собой денег, и он топтался в нерешительности, пока Кузьма не сунул ему в руку десятку, он положил ее на поднос хозяйке и та, поклонившись, отошла от него.

— Вот теперь порядок,— сказал Герасим.

Гости удовлетворенно загалдели: представление окончилось.

— Пойдем за стол,— позвал его Кузьма.

Они уселись, выпили. Уфимцев был несказанно благодарен Кузьме за выручку. И Архипу тоже: он спас его от необдуманного поступка сестры.

— А ты ешь, закусывай,— угощал его Кузьма, придвигая тарелки.

И Уфимцев ел. После выпитых рюмок к нему пришел аппетит и он, не обращая внимания на гостей, принялся за еду. Гости шумели, громко переговаривались, кричали: «Горько!» Звенели рюмки, брякали ножи и вилки, застолье гуляло, потеряв интерес к председателю колхоза, и он под шумок ел, отпивал по глотку из рюмки, в которую все подливал и подливал Кузьма.

А утолив голод, как-то успокоился и огляделся. Длинный стол, заставленный закусками, бутылками водки и вина, протянулся через всю горницу; все лишнее из горницы было вынесено, остался только стол да стулья, на которых тесно грудились гости. Впереди, в голове стола, чинно сидели, словно выставленные на показ, на всеобщее обозрение молодожены: внешне спокойный, даже чуть строгий Юрка, в черном костюме, при галстуке, и смущенная постоянным вниманием Лида в белом платье; у нее на голове, на самой макушке скрученных в узел волос, топорщилась фата — непременный атрибут невесты. Лида очень походила на мать, только повыше да помоложе, да чуть посветлее лицом. По

правую сторону от молодых, рядом с невестой сидели ее родители — Максим и Физа, а по другую сторону, с женихом, его родители — Архип и Аксинья. А в самом конце стола — мать Уфимцевых, Евдокия Ивановна, и с нею три старухи-певуньи,— вот они-то и запевали свадебные песни, забытые теперь в селе; видимо, Архип специально позвал их, решив справлять свадьбу по-старинному.

Среди гостей Уфимцев увидел зятя Архипа, Семена Красильникова с женой, работающего мастером в леспромхозе; он кивнул ему,— они были ровесниками, в свое время вместе призывались на действительную службу в армию. Тут был и дед Колыванов, приходившийся кумом Архипу, и друзья Юрки, механизаторы колхоза: Валентин Федотов и Серега Пелевин с женами, и еще какие-то пары, незнакомые ему, видимо, приезжая родня Сараскиных.

Но вот кто-то внес гармонь, ее бережно подали Красильникову, он уселся поудобнее, развернул меха — и рявкнули басы, запели лады подголосками, полилась уральская подгорная. Бабы побойчее разом бросили застолье, повскакали с мест и пошли кругом, притопывая туфлями, помахивая платочками. Настасья, легко пройдясь по кругу, игриво передернула плечами и вдруг задорно запела:

Меня милый провожал
Да на крылечке задержал,
Сколько звездочек на небе,
Столько раз поцеловал.

Кончив петь, она широко взмахнула платком и, чуть наклонившись, выбила дробь. По-

том подбежал к Физе, стащила ее со стула.

— Айда! Какова ты лешева!

Раскрасневшаяся, разрумянившаяся Физа легко вскочила в круг, прошлась с носка на пяточку и, вскинув голову, каким-то неестественно высоким, срывающимся голосом пропела:

Я стояла у ворот,
Спросил милый: «Какой год?»
Совершенные лета
И никем не занята.

И вот уже вся женская половина застолья, кроме старух, закружилась в хороводе; перестук каблуков по деревянному полу, частушечная скороговорка, сопровождавшаяся женским подвизгиванием, заглушили разговоры за столом. Вскоре и мужики не утерпели, глядя на своих жен, втиснулись в хоровод, пошли выламываться, откалывать коленца.

— Председателя в круг! Председателя!

Бабы подхватили Уфимцева под руки, затащили в круг, и он, неохотно отбиваясь, вначале шел спокойно по кругу, наблюдая с усмешкой за визжащими, крутящимися перед ним бабами, потом вдруг ударил ногами, или, как говорят, сделал выход,— и пошел, и пошел колотить пол, да с вывертом, да вприсядку. Бабы еще круче завертелись, мужики заподухивали, заподсвистывали, захлопали в ладоши — и пошла карусель!

Чернобровенький, молоденький,
Не стой передо мной,
Разгорится мое сердце,
Не зальешь его водой.

Плясали долго, потом один по одному — вначале мужики, потом бабы — выходили из круга, падали на стулья в изнеможении; мужики сразу тянулись к бутылке, чтобы промочить пересохшее горло, бабы — за платками и полотенцами, чтобы охладить пылающие жаром щеки. Только Физа с Настасьей да еще две неутомимых молодушки, Пелевина и Красильникова, продолжали выплясывать друг перед другом, исходить частушками. Уже гармонист выбился из сил, уже лады не выговаривали мелодию — не слушались пальцы, лишь басы тянули: ты-на, ты-на, а они все кружились, не уставая. Наконец гармонь как-то неестественно всхлипнула и замолкла, гармонист сунул ее под стол; ему налили полстакана водки, он выпил ее, покрутил головой, слепо потыкал вилкой в тарелку, поддел селедочную голову, пососал ее и, кажется, немного отошел, отдубел, открыл глаза пошире, посмотрел на свою жену-плясунью, разгоряченную, как лошадь после долгой гоньбы, мостившуюся рядом.

— Ну, Семен, ну, Семен, упарил баб,— кричал совсем захмелевший Кузьма.— Протряслись халявы, аж похудели... Дружки! Наливай бабам по полной, пусть поправляются!

— Не беспокойся за нас, Кузьма Терентьевич,— отвечала ему Физа.— Мы, бабы, двужильные, выдюжим.

— Это точно: двужильные,— подхватила Настасья.— Одна жила с мужиком скружила, другая — с работой. Вот и маемся, поплясать некогды.

Уфимцев посмотрел на Физу, потом перевел взгляд на Максима. Он еще давеча заметил, что брат ведет себя чересчур скромно: пьет мало и неохотно, хотя и смеется, когда смеются все, но как-то про себя; ни разу не вставал из-за стола, а все больше с Герасимом Семечкиным, сидевшим подле него, говорил о чем-то, наклонившись над столом, поблескивая пятачком лысины. Уфимцеву хотелось подойти к молодым, поздравить со вступлением в брак,— нельзя не поздравить, зачем шел! — но соседство их с Максимом останавливало.

Отчуждение братьев не укрылось от гостей, они решили воспользоваться случаем, примирить их. Уфимцев не придал значения тому, как Герасим, махнув рукой дружкам, подозвал к себе, пошептался о чем-то. Потом встал, крикнул через стол:

— Егор Арсентьевич, строители желают с вами чокнуться... за успех дела. Пожалуйте к нам, сюда.

Кобельков услужливо подскочил к председателю, подхватил под руку. Уфимцев взял свою рюмку, пошел без сопротивления к Семечкину, где Попов уже стоял наготове с бутылкой.

— Мы, строители, завсегда...— кричал Герасим, подмигивая Попову и поднимая смущенного Максима.— В первых рядах!

Братьев подтолкнули друг к другу, Попов быстро наполнил им рюмки, заодно и Герасиму и подоспевшему к ним деду Колыванову.

— Ну, за мир и дружбу! — вскричал Герасим, поднимая свою рюмку, чокаясь с

братьями.— И вы чокайтесь,— приказал он им.

Уфимцев уже раскусил эту затею, начатую Герасимом; он не имел ничего против, наоборот, обрадовался, но не знал, как ее примет Максим.

Гости поднялись со своих мест, смотрели, как чокаются Максим с Егором, как медленно пьют.

— А теперь — поцелуйтесь! — командовал Герасим.

Уфимцев обнял брата, поцеловал в колючие усы, и что-то колыхнулось у него в груди, подступило к горлу. А Максим лишь молча похлопал брата по спине, но перекошенное лицо, еле сдерживаемые слезы говорили лучше всяких слов о его состоянии.

— Ну, вот и все,— заключил Герасим.— Дружки! Наливайте всем, выпьем по такому случаю.

Гости захлопали в ладоши, закричали, радуясь примирению братьев,— застолье зашумело, зазвенело посудой, старухи-певуньи тихо и нежно повели новую свадебную песню.

Ой ты, камка ли камочка,
Ой ты, камка ли камочка,
Мелкотравчата, узорчата,
Мелкотравчата, узорчата.
Расстилалася камочка...

Уфимцевым завладел дед Колыванов. Он усадил его рядом с собой и завел разговор о строящемся доме председателя, которому, по словам деда, надо поставить резные наличники, и карниз сделать резной, и по фасаду вязь пустить — дед это умеет,— пусть все любуются, какой у председателя дом!

— Ты, парень, не сомневайся, у меня всякие рисунки есть. Выберем, которые получше, и...

Что говорил дед Колыванов дальше, Уфимцев уже не слушал, он перестал для него существовать,— в горницу вошла Аня, встреченная восторженными криками гостей. Из-за стола выскочила Физа и Настасья, стали ее раздевать, снимать пальто, но она не давалась, закрывалась руками, говорила смеясь:

— Нет, нет, я только на минутку, только поздравить Лидочку, пожелать ей счастья.

Она подошла к невесте, обняла ее, поцеловала и в губы и в щеки. Кобельков поднес ей большую рюмку портвейна.

— Выпить, обязательно выпить! — кричал Кузьма.— До дна!

Аня взяла рюмку, посмотрела на гостей, чуть задержала взгляд на муже. Он давно не видел ее и сейчас онемел, сидел безвольно, не зная, как себя вести, не отрывал глаз от безмятежно спокойного лица Ани. Она чуть раздалась в талии; белый оренбургский платок подчеркивал смуглость ее кожи, выделял черные брови, легкий пушок над верхней губой,— все это такое до боли знакомое Уфимцеву, такое родное, что у него перехватило дыхание, не стало хватать воздуха, он машинально распустил узел галстука, расстегнул ворот рубашки.

— Желаю вам обоим крепкого супружеского счастья,— сказала Аня вставшим перед нею молодым.— Любите друг друга, живите дружно, не давайте повода для ссор, пусть ничто не омрачает вашей жизни.— Тут она

вновь взглянула на Уфимцева.— И пусть в вашей жизни не будет слез горя, а только слезы радости!

Она залпом выпила рюмку, поставила на стол и пошла, но ее опять перехватила Настасья, потянула к столу, к тому месту, где сидел Уфимцев. И тут к нему пришло неожиданное озарение, что Настасья хочет повторить затею Герасима Семечкина с примирением,— и сразу забилось сердце, забилось так, что стало больно вискам. Но Аня оторвала от себя руки Настасьи, сказала нервно:

— Нет, нет, не могу, уволь. У нас сегодня педсовет. Вот только с мамой поговорю... Мама, можно вас на минутку?

И видя, что Евдокия Ивановна поднимается, быстро вышла из горницы. Настасья увязалась за ней.

Уфимцев уставился ошалело на дверь, за которой скрылась Аня, потом на деда Колыванова, дергавшего его за рукав; дед что-то говорил, но слова не доходили до Уфимцева, ему хотелось вскочить и бежать за Аней, но он посмотрел на гостей и решил не позорить себя, не показывать своей слабости, своего унижения перед женой.

Он посидел еще какое-то время — желание увидеть Аню, поговорить с ней все же взяло верх и он, похлопав деда по коленке, чтобы задержать его красноречие, сказал:

— Подожди, Серафим Ионович, до ветру схожу.

И неторопливо, чтобы все видели, как он не торопится,— не за женой гонится,— вышел в переднюю. Ани там не было, не было и ма-

тери с Настасьей. Уже не сдерживаясь, он выскочил в сени, на крыльцо, и тут встретил шедшую со двора мать.

— А где Аня? — спросил он тревожно.

— Ушла,— ответила Евдокия Ивановна.— Проворонил ты Аню...

Уфимцев, не дослушав мать, бросился за ворота. На улице было темно, он посмотрел в тот и другой конец села,— светились только окна домов, но никого из людей близко не было. Он вначале пошел, потом побежал по направлению к школе, но вскоре остановился. А надо ли ему бегать за ней, если она не хочет видеть его,— просить, унижаться? Может, послушаться Анны Ивановны, подождать «выздоровления»?

И он повернул обратно, прошел возле дома Сараскиных, откуда неслась песня про рябину, которая хотела перебраться к дубу, подумал про другую «рябину», пренебрегающую «дубом», горько усмехнулся и пошел домой.

8

С уходом Груни Васьков потерял устойчивость в жизни. Нарушилась, прервалась та житейская колея, которой он привык идти, чувствуя рядом с собой любимого человека.

Нет, еще раньше, когда Груня призналась ему, что по-прежнему любит Егора, и что набивалась к нему в любовницы, уже тогда в жизни Васькова все перепуталось, смешалось, встало вверх тормашками. Все, что прежде интересовало его, отодвинулось куда-то, отошло, осталась одна злость на Груню, на

Уфимцева. И эта злость, как кость в горле, мешала, поминутно напоминала о себе.

Переезд на жительство в Репьевку не принес изменений в отношениях с Груней. Он так же, как и раньше, ходил на работу, сидел в сельсовете или разъезжал на велосипеде по деревням и селам своего участка, Груня так же хозяйничала по дому, готовила завтраки и обеды, но мира между ними уже не было. Они почти не разговаривали друг с другом и спали порознь: Груня с дочерью на кровати в комнате, а он разбрасывал раскладушку в сенях и подолгу не спал, лежал, курил и думал, как они будут жить дальше. Все же он любил Груню, эта любовь не покидала его, несмотря на злость, которую испытывал к жене за бесстыдное признание в любви к Уфимцеву, за пренебрежение мужем после стольких лет совместной жизни. Эта любовь пересиливала жившее в нем сопротивление к примирению с женой, и внутренне, душой, он чувствовал, приди она, попроси прощения, скажи, что все это неправда, что она пошутила, подразнила его, хотела пробудить ревность, проверить его любовь, и он простил бы ее, постарался забыть все: и эти грубые намеки Векшина, и эти глупые признания Груни.

Первое время их жизни в Репьевке он очень надеялся на это, все ждал, что вот придет домой после работы и не узнает жены: она будет весела и жизнерадостна, как и прежде, встретит его с хитрой улыбкой и спросит: «Что, напугался? Ладно уж, хватит с тебя!» И они опять будут жить счастливо, и ему не

придется прятать глаза от людей, как делает он это сейчас.

Но приходя домой, он каждый раз встречал какой-то равнодушный, чужой взгляд жены. Груня молча вставала при его появлении, шла готовить ужин. И он, поужинав, озлобленный, уходил из дому, шлялся по Репьевке до полуночи, часто возвращался домой пьяным, что раньше с ним не случалось, возвращался с намерением поговорить с женой всерьез. Но та закрывала дверь в комнату на крючок, и он, стоя в сенях, долго стучался, просил, умолял отворить, взывал к ее благоразумию и, не достучавшись, мерзко ругался и заваливался на раскладушку.

Но однажды, придя с работы, он не нашел в доме ни жены, ни дочери. Кто-то из соседей сказал, что видел Груню с узлом и с девочкой по дороге на Большие Поляны. Он долго и неподвижно сидел в сенях, сжав зубы до боли в челюстях.

А утром, чуть свет, сел на велосипед и погнал в Поляны.

Встретивший его во дворе тесть, Трофим Михайлович Позднин, хмуро, неохотно поздоровавшийся с ним, на вопрос, где Груня, ответил:

— Где ей быть? Дома.

Васьков пошел в дом. Первым его увидела дочка, сидевшая на кухне за столом; она, видимо, только что уселась завтракать — перед ней стоял нетронутый стакан с молоком, на тарелке лежали творожные ватрушки.

— Папка приехал! — крикнула она обрадованно.

На голос дочери из комнаты вышла Груня. Словно тень пала на ее лицо при виде мужа.

— Зачем приехал?

Васькова не удивил такой прием. Он сел на стул, положил ногу на ногу, ответил спокойно, даже доброжелательно:

— Да вот захотелось узнать, надолго ли уехала? Не спросилась, не сказалась...

— Не хитри, Михаил. Ты прекрасно знаешь, что уехала совсем.

Он помолчал, поглядел на нее с вдруг нахлынувшей ненавистью. Пришло желание както унизить, опозорить ее, чтобы облегчить душу, унять пришедшую ненависть. С каким удовольствием он ударил бы сейчас по ее наглому лицу, потом смял бы и бил, пока не запросит пощады за все его унижения.

— Значит, решила бросить законного мужа и перейти к любовнику?

— Не говори глупостей при ребенке,— сказала строго Груня.

Васьков встал, мельком взглянул на присмиревшую дочь, видимо, понявшую, что отец с матерью ссорятся, и сказал с угрозой:

— Ладно. Ты еще пожалеешь об этом... Еще вспомнишь сегодняшний день!

И ушел.

В тот же день он достал адрес жены Уфимцева и написал ей письмо, положившее начало семейной драме председателя колхоза.

И после, когда Степочкин потребовал от него доказательств преступной связи жены с председателем колхоза, он с мстительным наслаждением, даже с вдохновением описывал в

подробностях, как Уфимцев, используя свое служебное положение, добивался взаимности от жены и как, наконец, добился, чего хотел, в чем она сама ему призналась. И как она, не считаясь с его общественным положением финансового работника, тайно сбежала в Большие Поляны, чтобы быть поближе к своему любовнику.

Он горел ненавистью к жене, к Уфимцеву, виновнику его позора, к тестю Позднину, взявшему дочь под защиту, и не жалел красок на описания. Объяснение Васькова получилось длинным и, по его мнению, очень убедительным. Он переписал его набело под копирку, и один экземпляр переслал жене Уфимцева.

А когда узнал, что на помощь ему поднялись Векшин и Тетеркин, был буквально окрылен: теперь-то уж Уфимцеву не сдобровать. И предвкушение законного возмездия за свое унижение радовало его, вызывало интерес к жизни.

Но все произошло не так, как ожидалось: Уфимцев остался на посту председателя, говорили о его скором примирении с женой, а Груня, как и прежде, стала работать на ферме.

И Васьков вновь терзался муками неотомщенного позора. Жил он в Репьевке одиноко, скучно, сторонился людей, частенько прикладывался к бутылке, в пьяном виде строил мстительные планы один страшнее другого и тем скрашивал свою жизнь.

Как-то проездом из Малаховского совхоза он завернул в Большие Поляны, к матери. Теперь он редко бывал в родном селе, только

по служебной необходимости, или как вот сейчас — устал крутить педали, а до Репьевки еще четырнадцать километров.

Стоял теплый осенний день. Солнце подкатывалось к Санаре, когда он открыл калитку отчего дома. Мать встретила его без удивления, только и спросила:

— Ночевать останешься?

— Придется,— ответил он.

При встречах они никогда не говорили о Груне, словно не жила она десять лет в этом дому. Даже о внучке старуха ни разу не поговорила с сыном, даже случайно не обмолвилась, будто той не существовало на свете.

Мать собрала Васькову ужин — налила чашку борща, нарезала хлеба, принесла из чулана соленых огурцов, крынку молока, поставила стакан и ушла во двор.

Вид соленых огурцов, запах борща вызвали у Васькова волчий аппетит. Он встал, достал из буфета недопитую в прошлый приезд бутылку водки, налил полстакана, на миг задумался, наклонил бутылку, посмотрел на нее и вылил все, что в ней оставалось — вышел полный стакан.

Васьков сел и, зажмурившись, отпил три больших глотка из стакана, горько сморщился, помотал головой, нащупал огурец в тарелке, смачно, с хрустом откусил и стал есть. Расправившись с огурцом, принялся за борщ. По телу пошла приятная теплота, голова тихонько закружилась, он уплетал борщ и ни о чем не думал. Вдруг отложил ложку, взял в руку огурец, в другую — стакан с водкой,

набрал в грудь воздуха, сильно выдохнул и залпом выпил остатки.

И тут, вместе с водкой, с начавшимся опьянением, к нему вновь пришли мысли о жене, о ее бессовестном поступке. Он хлебал борщ и чем больше пьянел, тем больше разгорался желанием что-то сделать, как-то отомстить ей. В памяти всплыл совет Векшина, сделанный ему в Колташах, в ресторане, отобрать у Груни дочь. И ему показалось сейчас, что это самый лучший способ ущемить бывшую жену, наступить ей на хвост. И чем дольше думал, тем заманчивее казалась ему эта идея: выкрасть дочь, пока Груня на ферме.

Он посмотрел в окно на закатное солнце и заторопился одеваться.

3

Кажется, никто в селе не удивился тому, что Груня вновь появилась на ферме. Впервые увидели ее там еще девчушкой, вскоре после войны, и за все эти послевоенные годы она так приросла к ферме, что многие не представляли ее без Груни — вначале передовой доярки, после — заведующей. Груню все уважали: колхозное начальство — за трудолюбие, доярки — за справедливость, за заботу о них.

И теперь, возвратившись на ферму, она была встречена доярками так тепло, будто вернулась в родную семью после продолжительной и тяжелой болезни.

Три раза в день, в одно и то же время, Груня уходила на ферму и возвращалась до-

мой. Занимаясь привычным делом, она постепенно успокаивалась, работа отвлекала, не оставляла времени для раздумий о своей неудачно сложившейся жизни. Она старалась не думать о Егоре, понимала, что он — потерянный для нее человек, потерянный навсегда, старалась не думать о нем — и не могла: любовь к нему не проходила. Она страдала от ревности, от обиды и ничего с собой поделать не могла. Она часто видела теперь Егора, но не подходила к нему, лишь украдкой следила за ним, ловила каждый его жест, каждое слово. Иногда сталкивалась с ним нос к носу, сдержанно здоровалась, не поднимая глаз, делала вид, что он ей безразличен, но знала про себя: стоит ему сказать ласковое слово, поманить ее — и она собачкой побежит за ним.

Только и было утешения, что дочь Леночка, которой она отдавала всю себя и на которую перенесла любовь, копившуюся для Егора. Девочке исполнилось шесть лет, лицом она походила на мать, а не на отца, и это еще больше привязывало к ней Груню. Леночку любили и дед с бабкой, особенно Трофим Михайлович, не чаявший души во внучке. Он часто оставался с ней один, когда мать была на ферме, а бабка Агафья уходила то в огород, то в магазин, а то и к знакомым, где за чаем да разговорами проходило время до вечернего табуна. Обычно Трофим Михайлович что-нибудь стругал под навесом или чинил прохудившуюся обувь, натирал варом дратву, Леночка играла тут же, вела свои, только ей понятные разговоры с куклами.

Погода в эти дни октября стояла ясная, но холодная — мороз уже сковал землю; по утрам выпадал иней, серебрил плетни и крыши, а днем на солнышке было тепло; в такую погоду не хотелось коптиться дома, хотелось выйти и посидеть на скамеечке, подышать свежим воздухом, погреть старые кости на солнышке, и Трофим Михайлович с утра до вечера не покидал двора. За последние дни он чувствовал себя лучше, почти исчезли приступы удушья, постоянные головные боли,— может, играла тут роль теплая, солнечная погода, а может, конец беспокойства за дочь.

Однажды вечером, когда Груня еще находилась на ферме, а Агафья Петровна возилась по хозяйству, Трофим Михайлович сидел во дворе на скамеечке, отдыхал, дожидался, пока жена встретив корову, подоит ее и даст им с Леночкой по стакану парного молока. Леночка тут же на скамеечке играла в черепки и разноцветные стеклышки, что-то беззаботно напевала. Вечер был легкий, теплый, но на небе за баней собирались тучки, громоздились горкой, обещая перемену погоды.

Вдруг кто-то сильно ударил в калитку,— Трофиму Михайловичу показалось, что так могла боднуть рогами корова или кто-то пнуть ногой. Но корове прийти рано, и он настороженно повернул голову, недоумевая, кто бы мог быть? Замерла и Леночка, уставилась на калитку. Но вот громко забрякала щеколда, калитка широко распахнулась и в проеме показался Васьков. Он уперся руками в столбы калитки и, щурясь, оглядел двор.

— А-а, вот она где, моя любимая дочь! — вскричал он, увидев Леночку, решительно шагнул через подворотню, но не рассчитал, запнулся за нее — задел носком сапога и чуть не упал, едва удержался на ногах.— Вот она где скрывается от отца!

Васьков был пьян. На нем длинное пальто нараспашку и серая кепочка, сдвинутая ухарски на затылок, рыжие волосы закрывали ему лоб, падали на очки.

Леночка, увидев пьяного отца, испуганно потянулась к деду. Трофим Михайлович поставил ее между своих колен, обхватил руками, как бы защищая от непрошеного гостя.

— Чего ты ломишься? — сердито закричал он на зятя.— Чего тебе тут надо?

Васьков остановился перед Поздниным, широко расставив ноги, покачиваясь взад-вперед, кривил лицо, всматриваясь в тестя.

— Дочь мне надо! Понял? Законную дочь... по праву. Отец я ей или нет?! Не хочу, чтобы эта сука...

Он шагнул к Позднину, намереваясь схватить девочку, но Трофим Михайлович с неожиданной быстротой поднялся и заслонил ее собой.

— Уходи! — хрипло крикнул он зятю. Ему враз стало нечем дышать, словно со двора исчез весь воздух, и он хватал остатки его побелевшими губами.— Приходи трезвый!

— Врешь, отдашь!

Васьков схватил Позднина за ворот ватника, дернул к себе. Тот качнулся, не удержался на ногах; подхватив одной рукой Леночку, он другой отбивался от наседающего,

орущего Васькова, пытаясь как-то вырваться и унести внучку в дом.

На крик из сеней выскочила перепуганная Агафья Петровна:

— Господи! Что делается! — заметалась она по крыльцу, хватаясь перепачканными в муке руками за голову.

— Отдашь, старый пес, мою дочь? Отдашь? — рычал, надрываясь, Васьков, не отпуская Позднина. Вдруг он размахнулся, ударил его кулаком по голове, сшиб шапку. Девочка заплакала, Агафья Петровна дико закричала: «Помогите! Убивают!» — выбежала в открытую калитку на улицу. Но тут Трофим Михайлович, собравшись с силами, толкнул в грудь зятя, и тот, попятившись, упал на спину, смешно взбрыкнув ногами. Воспользовавшись этим, Позднин подхватил девочку и заспешил к дому.

— Зарублю! — заорал Васьков, поднимаясь с земли, бросаясь к навесу, видимо, в поисках топора. Кепочка с него слетела, волосы поднялись дыбом, как гребень у драчливого петуха.

Но топора он не нашел, схватил полено, побежал с ним к крыльцу, следом за Поздниным. Трудно сказать, что могло произойти дальше, если бы не вбежавшие на крик мужики; они сгребли Васькова, отобрали полено, заломили ему руки за спину и поволокли на улицу. Васьков орал, матерился, но с ним не посчитались,— побежали в правление звонить участковому милиционеру.

Когда Груня вернулась с фермы домой, она застала страшную картину: напуганная

девочка безутешно плакала, забившись за комод, у Трофима Михайловича начался сердечный приступ и кто-то из соседей уже побежал за фельдшером, Агафья Петровна, сморкаясь и размазывая по щекам слезы, рассказывала набежавшим на шум женщинам о разбойничьем налете зятя.

4

Акимов проснулся рано, но вставать не торопился. Вновь, как и всегда по утрам, нахлынули думы о делах в районе. Он слышал, как жена кормила сына, собирала в школу, как сын ушел, загремев по лестнице, а он все лежал, курил и думал.

Думал о том, что район так и не сдержал своих обязательств по сверхплановой продаже зерна государству. Правда, основной план хлебосдачи они выполнили, а вот с обязательствами... Будь побольше техники, убрались бы до дождей, не имели бы потерь и, глядишь, не только справились бы с обязательствами, но и в колхозах осталось бы побольше зерна на свои нужды...

И с обязательствами — не всегда считались с возможностями колхозов. Особенно усердствовал начальник производственного управления Пастухов, хвалился перед областью; его желание «блеснуть» перед областным начальством не укрылось от членов бюро. Теперь пастуховский «блеск» сказывается кое-где... Но надо признать, тут Акимов виноват больше сам: не дал в свое время по рукам Пастухову, полиберальничал, не хотел до конца портить отношения. Смущала его двой-

ственность положения: теоретически он руководитель партийной организации района, как это было раньше, когда существовали райкомы, а практически — секретарь парткома производственного управления, где начальник управления — лицо как бы более высокое, чем секретарь, с более широкими полномочиями. Вот этим и не забывал пользоваться Пастухов, это и заставляло Акимова иной раз колебаться, быть недостаточно решительным в случаях, когда следовало партийную власть применить. Дело тут даже не всегда в Пастухове. Часто он сам испытывал ощущение какой-то неопределенности; например, в таком-то деле или вопросе он предполагал поступить так, а ему сверху говорили: нет, иначе.

Он помнит, как после сентябрьского Пленума ЦК заметно оживилось дело в сельском хозяйстве,— тогда он работал инструктором райкома, помнил, как колхозы рванулись вперед. И вот вновь какая-то задержка, все шло вниз, который год район топчется на месте: урожаи не растут, продуктивность скота падает, да и самого скота становится меньше из-за слабой кормовой базы. Да и не только в районе, а и в области, да и по стране. Чуть не каждый год какие-то перестройки, административные и территориальные... Теперь не всегда прислушиваются к мнению самих производителей, навязывают колхозам структуру посевных площадей, ломая севообороты, регламентируют сверху организацию производства и агротехнику, как будто колхозник никогда не видел земли, не возделывал на ней хлеб.

Лежит Акимов, не встает. Все, что раньше копилось, выливается сегодня, неспокойно ворочается в голове. Он думает о только что прошедшем Пленуме ЦК партии, о котором вчера информировало радио. После Пленума что-то должно измениться или появится новое. А изменения эти — ох, как нужны!

— Ты будешь сегодня вставать? — спросила жена, входя в спальню.— Скоро девять часов... Запишет тебе Пастухов прогул.

Она открыла шторки на окнах, посмотрела лукаво на мужа — знала, чем его пронять, чем расшевелить. И верно, оказалось достаточным упоминание о Пастухове, чтобы Акимов тут же поднялся и стал одеваться.

— Послушай-ка, вчера я получила письмо от Ани Уфимцевой. Оказывается, они все еще с Егором живут порознь — вот какая упрямая баба! Нет, ты только послушай, что пишет, собирается уезжать к матери, как придет время рожать. И ребятишек забирает, видимо, совсем сматывается из Полян. Поговорил бы ты с ней, с дурехой, ведь безрассудно поступает, потом каяться будет... Хотя вообще-то она права, надо было проучить этого петушка Егора, но, кажется, тут она переборщила: возьмет да и женится на другой — есть, говорят, у него милашка, из-за нее раздор пошел.

Акимов готовился бриться. Он слушал жену, изредка посматривая на нее, следил, как она, не переставая говорить, застилала постель покрывалом, взбивала подушки, следил, как сильно двигались ее руки, как твердо ступали ноги — жена была женщиной круп-

ной, подстать ему. Он мысленно согласился с ней: после бюро, обсуждавшего Уфимцева, прошло три недели, а он так и не удосужился поинтересоваться, как обстоят дела у Егора.

— Когда у нее роды? — спросил он, намыливая щеки.

— Пишет, в январе.

— Чего ради она тебе решилась письма слать? Жалуется, что ли, на судьбу?

— Сказал тоже — жалуется. Будет она жаловаться! Ты что, не знаешь Аню? Просит подобрать ей методику по математике и выслать с кем-нибудь... Вот ты поедешь, я и пошлю.

Когда он садился за стол, на стенных часах пробило девять. Он ел картошку, пил чай, жена что-то говорила, бубнил на стене ящичек динамика, но он не слушал их, голова была занята предстоящими делами.

Но вдруг какая-то фраза радиодиктора насторожила его, привлекла внимание. Он поднялся, не выпуская стакана с чаем из рук, повернул рукоятку динамика, прислушался к посвежевшему голосу диктора. Передавали передовую «Правды».

«Ленинская партия,— читал диктор,— враг субъективизма и самотека в коммунистическом строительстве. Ей чужды прожектерство, скороспелые выводы и поспешные, оторванные от реальности решения и действия, хвастовство и пустозвонство, увлечение администрированием, нежелание считаться с тем, что уже выработали наука и практический опыт. Строительство коммунизма — дело живое, творческое, оно не терпит канцеляр-

ских методов, единоличных решений, игнорирования практического опыта масс».

Он посмотрел на листок календаря, там стояло: октябрь, семнадцатое.

И сразу все — и жена со своими заботами об Ане, и сладкий чай, и картошка ушли куда-то, отодвинулись, в памяти осталась, звучала, как колокол, фраза: «Строительство коммунизма... не терпит канцелярских методов... не терпит... не терпит...» Это как раз ответ на то, о чем он думал сегодня.

Он поставил стакан на стол, торопливо снял с полки шляпу, подхватил пальто и, под недоуменный взгляд жены, быстро вышел.

Всю дорогу, пока шел в партком, у него лихорадочно сверлила мысль в мозгу: наконец-то приходит что-то новое, что-то свежее, как луговой ветер, и, как следует из передовой «Правды», диктуемое самой жизнью.

Не успел он войти к себе в кабинет, как появился Торопов. Еще с порога, не поздоровавшись, он крикнул Акимову:

— Слышал?

Акимов понял, о чем он спрашивал.

— Слышал, конечно.

— Ну как? — Торопов присел к столу, не раздеваясь, не снимая кепки. Он как-то широко, очень радостно улыбался, будто только что совершил немыслимый подвиг и еще не мог как следует успокоиться.— Кончился наш спор с Пастуховым. Кончился! В нашу пользу!

Он вдруг захохотал, вскочил с места, словно не знал, куда девать себя от радости, забегал по кабинету. Акимов следил за ним и

тоже волновался, ему тоже хотелось вскочить и что-то делать, немедленно делать, чтобы слова, услышанные по радио, превратились в реальность, пришли в действие. Но он переборол себя, вытащил из стола сигареты, закурил.

— А не рано ли радоваться? — спросил он Торопова, спросил, чтобы успокоить себя, услышать еще раз подтверждение своим мыслям.— Ведь ничего больше нет, кроме передовой «Правды».

— Так ты, оказывается, не все слышал,— изумился Торопов.— В восемь утра передавали информационное сообщение, произошли изменения в верхах — другие люди пришли к руководству.

— Этого я не слышал... Теперь надо ждать изменений политики в сельском хозяйстве.

— Будут изменения! — с уверенностью ответил Торопов.— Вот посмотришь. Сама жизнь, само состояние дел в сельском хозяйстве зовет к этому, толкает в спину. Разве тебе не ясна передовая «Правды»,— а ведь она исходит из решения Пленума,— что партии чужды прожектерство, оторванные от реальности решения и действия, увлечение администрированием, чего у нас за последнее время хоть пруды пруди. И ходить далеко не надо — тот же Пастухов, да и в области пастуховых немало. Так что изменения будут.

— Твоими бы устами да мед пить, как говаривали в старину.

И тут зазвенел телефон.

— Слушаю,— сказал Акимов, подняв трубку. По мере того, как кто-то говорил с

ним, Торопов видел, как менялось, мрачнело лицо Акимова.

— Буду обязательно,— сказал он и положил трубку.

— Что-нибудь неприятное? — присмирел Торопов, вновь опускаясь на стул.

— Да... Стенникова из Полян звонила, умер Позднин, бывший председатель колхоза.

— Знаю немножко Позднина... Больной был человек, что ж тут удивительного.

— Да нет, он еще крепко держался. Тут другое. Стенникова говорит: от сердечного приступа. Зять умереть помог...

5

Похороны бывшего председателя колхоза Трофима Михайловича Позднина были назначены на два часа дня.

С утра шел дождь, но к полудню он перестал, выглянуло солнце, разогнав тучи, и стало хорошо: все вокруг умылось дождем — и зеленая отава на Кривом увале, и кладбищенская березовая роща, и голубеющее за рощей небо — чистое, без единого пятнышка. Как будто нарочно, чтобы сделать приятным последний путь Трофима Михайловича,— жил в трудах и заботах, так пусть его последний путь по земле будет светлым и достойным прожитой жизни.

Ко времени похорон около дома покойного собралось чуть не все население Больших Полян и Шалашей — Трофима Михайловича, руководившего хозяйством в трудные послевоенные годы, колхозники крепко уважали: все же, несмотря на некоторые особенности

его характера, он был человек свойский, зря не обижал, заботился о колхозниках.

А особенность его характера заключалась в том, что был он мужиком по-крестьянски с хитрецой, или, как говорят, себе на уме. Речи вел всегда тихо, спокойно, не кричал, как другие, но, кажется, не было случая, чтобы ему не удавалось уговорить человека. И вот тут он иногда пускался и на хитрость, собеседник не замечал, как его обводили вокруг пальца. После тот возмущался, обвинял Позднина во всех смертных грехах, а Трофим Михайлович только виновато улыбался, разводил руками, дескать, что поделаешь, нужда заставила так поступать. На него очень-то не сердились, понимали, что делает это не от злости на человека, а для общей пользы, и прощали ему его маленькие хитрости.

Вот обо всем этом и о многом другом вспоминали колхозники, разбившись на кучки, загромоздив улицу перед домом. Но тут внимание толпы привлек автобус, пришедший из Колташей; из него вначале вынесли барабан, потом вышли парни с трубами.

— Оркестр приехал,— пронеслось по толпе.

Векшин, распоряжавшийся похоронами, вышел к автобусу, поговорил с шофером, и тот отогнал автобус к другой стороне улицы. Был Векшин без шапки, в наглухо застегнутом пальто, с траурной повязкой на рукаве.

Со стороны правления появились руководители колхоза и с ними секретарь парткома Акимов. Народ расступился, и они прошли в калитку. Наверное, не один из присутствую-

щих колхозников заметил, как плохо выглядел Уфимцев, какой он бледный и печальный, будто шел на похороны своего близкого родственника. Но никто не знал, что пережил он вчера.

Еще утром, узнав о кончине Трофима Михайловича, он пошел проститься с ним, навестить семью покойного и договориться о похоронах. С тревогой, с болью в сердце перешагивал он порог дома, о котором когда-то мечтал, как о своем: женившись на Груне, он намеревался жить у тестя. Об этом он не говорил с Трофимом Михайловичем, но знал, тот был настроен так же и лишь ждал возвращения солдата домой.

В доме толпилось много соседок; увидев председателя, они потеснились, дали ему место. Покойник лежал на столе, прикрытый простыней. Уфимцев подошел поближе, взглянул в его такое знакомое, но сейчас чужое лицо, словно вылепленное из пергамента, с заострившимся носом, глубоко запавшими, закрытыми навсегда глазами. Особенно страшен был лоб — широкий и мертвенно-бледный, с какими-то неживыми, неестественными волосами.

И вот тогда-то, при виде этого еще недавно живого, бодрого, с тихим, ласково-приглушенным голосом, вечно куда-то спешащего человека, теперь безжизненного, отрешенного от всего, что ему было дорого, Уфимцев вдруг понял, что он очень виноват перед Трофимом Михайловичем, пожалуй, не менее, чем перед Груней. Он не слышал от Трофима Михайловича и слова упрека, но знал, что тот глу-

боко переживал несчастье дочери, отвергнутой любимым человеком. И теперь чувство запоздалого раскаяния перед покойником овладело Уфимцевым, спазмы сжали горло, он отвернулся и неожиданно встретился с глазами Груни, стоявшей у окна, встретился и испугался: в ее глазах стояло — нет, не стояло, а кричало во весь голос то же, о чем он подумал сейчас, что именно он виноват во всем, виноват в преждевременной смерти отца,— не было бы этого Васькова на ее пути, не было бы и вот этого нелепого случая, приведшего отца к могиле.

Уфимцев не мог вынести ее взгляда и, ничего не сказав, не переговорив ни с Груней, ни с Агафьей Петровной — хотя с ней говорить было уже бесполезно, горе совсем свалило жену Позднина, повернулся и ушел. Зайдя в правление. поручил Векшину заняться похоронами, а сам, велев оседлать Карька, поехал в Шалаши.

Но Шалаши были только предлогом, туда он не поехал, а выехав за село, повернул направо, пересек тихую, маловодную в это время Санару и поскакал через луга к полям, бесцельно проездил по ним до вечера, пробираясь узкими дорожками по гривкам оврагов и опушкам леса. Осень медленно сгорала от злых ветров и частых дождей. Уже не осталось на деревьях желтых и багряных листьев, так недавно радовавших глаза своей необычной красотой,— деревья стояли голые, просвечивающие насквозь, трава в колках пожухла, почернела, и в полях было пусто — они наводили тоску своей чернотой и безжиз-

ненностью, лишь озими с их буйной зеленью скрашивали немного эту унылую пору поздней осени. Да еще сороки, стрекотавшие без умолку при виде всадника. Иногда Карька и Уфимцева пугали шумно взлетавшие из-под ног тетерева: плавно, чуть подрагивая крыльями, они тянули к ближайшим березам и усаживались на их вершинах, сторожко вытягивали шеи.

День клонился к вечеру, когда Уфимцев повернул обратно. Небо сужалось, опускалось на землю, враз стало слышно, как били вальками белье на пруду; за потемневшей, чуть видимой кромкой леса разгоралось зарево, потом потухло, надвинулась ночь, покрыла мраком луга, реку, село, стало глухо и одиноко.

Поездка успокоила Уфимцева. Он взглянул на события как бы со стороны, глазами постороннего человека. Конечно, он виноват перед Трофимом Михайловичем, обманул его ожидания, но все это случилось так давно, что чувство обиды не просто притупилось, а было наверняка забыто самим Поздниным. Тем более, что Груня, как принято говорить, нашла свое счастье, выйдя за Васькова. Конечно, виноват он и перед Груней, но не виновата ли она сама в том, что произошло сейчас? Он же ей прямо тогда, на санарских лугах, сказал, что за ним гоняться — дело безнадежное. Она не послушалась, бросила мужа, испортила жизнь Васькову — хотя он его особенно не жалел, но испортила жизнь и ему, Уфимцеву. Во всяком случае, он-то не повинен в преждевременной смерти Трофима Михайловича.

Так он рассуждал — ехал шажком, не торопя Карька — не догадываясь и не подозревая, что ни он, ни она не виноваты во всем случившемся, виновата любовь, которая не спрашивается и не советуется с теми, к кому она приходит. Но в данном случае — чего не знали ни Уфимцев, ни Груня,— и в их семейных несчастьях, и в преждевременной смерти бывшего председателя колхоза был виноват один человек, тот, который готовил сейчас своего бывшего товарища и руководителя в последний путь...

Неожиданно громко охнул барабан, запели тонко трубы, полилась над селом торжественно-печальная мелодия похоронного марша, и ворота распахнулись настежь. Народ присмирел, уставился на проезд во двор, откуда первыми вышли пионеры, неся на красных подушечках высокие награды Трофима Михайловича, бывшего гвардии старшины и председателя колхоза: орден Красной Звезды и орден «Знак Почета», медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Потом вынесли венки, вслед за ними крышку гроба и, наконец, сам гроб. Гроб несли на своих плечах секретарь парткома Акимов, председатель колхоза Уфимцев, его заместитель Векшин и председатель сельсовета Шумаков. Когда гроб вынесли за ворота, стоявшие на улице мужики сняли шапки, кто-то из женщин громко заголосил, ее поддержали другие, и вот уже в толпе заширкали носами, заходили кончики шалей и платков по мокрым глазам баб.

Жену Позднина, Агафью Петровну — заплаканную, не отрывающую рук от лица, вели Анна Ивановна Стенникова и тетя Соня Пелевина. Они вели ее молча — не уговаривая, не утешая, зная по опыту, что лучше выплакаться и тем облегчить свою душу в таком большом горе.

А Груня шла впереди матери, сразу за гробом; у нее были сухие, горящие глаза с темными подглазницами от двух бессонных ночей. Она шла, высоко подняв голову,— строгая, какая-то незнакомая, красивая в своем горе. В толпе, стоявшей по обеим сторонам улицы, особенно в той ее части, которая не собиралась идти на кладбище, жалостливо шептались бабы о Груне, о ее девочке, о Ваське, отбывавшем в Колташах пятнадцать суток за хулиганство.

— Мало ему,— возмущались бабы.— Такого человека на тот свет отправил.

Гроб с телом покойного понесли по улице, толпа двинулась за гробом, а позади толпы, замыкая шествие, медленно ползли автобус, две грузовые машины и газик Акимова. Плыла над селом траурная мелодия, ласково светило солнышко, делясь с людьми своей щедростью в этот печальный для Больших Полян день, медленно двигалась процессия, не торопились люди расставаться с Трофимом Михайловичем. Вот уже начальство, несшее гроб, сменили почетные люди колхоза, те, с которыми Трофим Михайлович работал всю свою жизнь, восстанавливал колхоз после войны: Коновалов Иван, Микешин Василий, Сараскин Архип, Колыванов Серафим. И было грустно

и тягостно видеть их обнаженные седые головы, суровые лица, несущих своего товарища, ушедшего из жизни.

Когда похоронная процессия вышла за село и двинулась к кладбищенской роще, гроб подхватила молодежь: Попов, Кобельков, Сараскин и Первушин. Дорога на кладбище была грязной от утреннего дождя, и все пошли стороной, курчавой полянкой. Идти по ней было легко, и там, где проходили люди, на зеленой траве оставались черные следы от множества ног.

Кладбищенская роща встретила их тишиной. Толстые, почерневшие, потрескавшиеся от времени стволы берез были еще мокры от дождя и будто тоже плакали по покойнику, источая сверху, с безлистых голых вершин, светлые слезы.

Гроб поставили на краю свежевырытой могилы, и Акимов, грустно поглядев в лицо покойного, вскинул голову, оглядел толпу пришедших на кладбище людей.

— Дорогие товарищи! — Голос Акимова прозвучал глухо, слова не уносились, падали тут же в толпу.— Сегодня мы прощаемся, отдаем последний долг прекрасному человеку, нашему другу и товарищу дорогому Трофиму Михайловичу Позднину, чья жизнь прошла на наших глазах, как жизнь пламенного патриота Родины, как стойкого коммуниста, рачительного колхозного хозяина, не жалевшего своих сил для нашего общего блага.

Солнце поблескивало, отражалось от бритой, коричневой головы Акимова, тени от берез падали на гроб, на свежую могилу, на

стоявших вокруг неподвижных людей, молча склонивших головы, слушающих скорбные слова секретаря парткома о человеке, который только позавчера был среди них. Нигде, как здесь, в этом месте вечного успокоения, к пожилым людям приходят мысли о бренности человека, о неумолимости предстоящего, и Уфимцев невольно наблюдал, как с каждым словом Акимова все ниже опускались головы стариков, как упирались их глаза в землю.

— Вечная память тебе, Трофим Михайлович, вечная память! Пусть никогда не зарастает к твоей могиле тропа и пусть твой жизненный путь явится примером для других людей!

Закончив речь, Акимов сошел с холмика, вновь заиграли музыканты, вновь заголосили бабы, раздался стук молотка по забиваемым в крышку гвоздям. Через некоторое время на месте темнеющей ямы вырос глинистый холмик, в изголовье которого установили дощатый конус с пятиконечной звездой, вырезанной из белой жести.

— Как ни жаль обижать вдову, а на поминках нам долго нельзя засиживаться,— сказал Акимов Уфимцеву, когда все было закончено и народ пошел к кладбищенским воротам.— Поручи Векшину и Шумакову, пусть они побудут до конца, а ты собери своих помощников — и в правление...

6

В правлении было пусто, и они, зайдя в кабинет, все еще находясь под впечатлением похорон и поминок, молча уселись за стол.

Акимов закурил, не начинал разговора, потирал голову ладонью, поглядывал на колхозных вожаков.

— Ну, ладно,— сказал он и зябко передернул плечами, словно отряхивался от приставших к нему тягостных мыслей,— мертвые наших забот с собой не уносят, они нам остаются... Полагаю, вы уже слышали о Пленуме ЦК?

— Слышали,— ответила за всех Стенникова.— Разговоров в колхозе много. И разного... Ждем газет.

— Я тоже не видел газет, но по сообщению радио чувствуется, предстоят большие изменения, в частности, в методах руководства сельским хозяйством. Так что готовьтесь, товарищи, к более широкому взгляду на жизнь, на свою работу... Вот ехал я к вам, посмотрел на поля и подумал: тесно вы живете, расширяться пора, на простор выходить.

— На простор, говоришь? — переспросил Уфимцев и коротко посмеялся.— Может, лес корчевать? Вести подсечное хозяйство?

— Лес корчевать не надо,— заметил ему Акимов и спросил Попова: — Сколько у вас пахотной земли?

— Около полутора тысяч гектаров,— ответил тот.

— Ну вот, всего полторы тысячи на таких гвардейцев.— Он прищурился, посмотрел с любопытством на Попова и Первушина, увидел в их глазах огонек интереса к своим словам.— А рядом пропадает свыше двух тысяч гектаров первоклассной земли.

— Это где ты обнаружил такой клад? — опять засмеялся Уфимцев, полагая, что Акимов разыгрывает их.— Да еще рядом с нами? Я что-то не замечал таких кусочков по две тысячи.

— Видел, да не обратил внимания. Не твое, за межой лежит... В репьевском колхозе, товарищ председатель.

— Не понимаю,— откровенно удивился Уфимцев.— Почему пропадают? И какое отношение имеем мы к чужим землям?

— Самое прямое: объединиться вам надо с репьевским колхозом.

— О! — только и сказал Попов и полез в карман за расческой.

— Объединиться? — еще больше удивился Уфимцев.— Кажется, сейчас тенденция к разукрупнению, а не наоборот?

— Вообще-то да, там, где зря слепили, создали гиганты. А у вас карликовые хозяйства даже по нашим уральским масштабам.

— А почему раньше не соединили, когда проводилась такая кампания?

— Пытались, да встретили сопротивление и отступились. Думаю, не поздно еще поправить.

В коридоре настойчиво зазвонил телефон, и Попов, недовольно морщась, вышел из кабинета.

— Возможно, не без основания сопротивлялись,— ответил Уфимцев.— Техники было мало, а без тракторов, без автомашин такой махиной, разбросанной по лесам, не так-то просто управлять.

— Николай Петрович, вас к телефону,— сообщил вернувшийся Попов.

— Теперь другое время, техники больше. А управление не должно затруднять вас, специалистов, людей с образованием,— ответил Акимов, поднимаясь.

Пока он говорил по телефону, они сидели молча, думали о его предложении, причем настолько неожиданном, что оно Уфимцеву и в голову не приходило. Правда, он завидовал иногда Петрякову, видя его просторные поля, незанятых людей, бродящих по улицам Репьевки.

Акимов вернулся озабоченный:

— Придется с вами распрощаться, возвращаться в Колташи: завтра пленум обкома... Так вот, подумайте о моем предложении, подумайте хорошенько, взвесьте все за и против, да не с обывательской точки зрения, а с государственной, и сообщите парткому.

Он стал прощаться, подал руку Стенниковой, Попову, потом Первушину, но, подойдя к Уфимцеву, вдруг хлопнул себя по лбу:

— Вот, растяпа, чуть не забыл! — Открыв окно на улицу, он высунулся по пояс.— Вася! Подай сверточек, на сиденье лежит... Вот-вот, этот самый.

Отойдя от окна, Акимов подал Уфимцеву небольшой сверток из газеты, в котором находились, видимо, не то книги, не то журналы.

— Передай, пожалуйста, это жене,— сказал Акимов и значительно посмотрел на него.— Мария послала. И поклон передай от меня и от Марии. Мне следовало самому за-

ехать, да, видишь, как случилось: надо поспеть к вечернему поезду.

Он пожал руку Уфимцеву, кивнул остальным и быстро вышел.

Когда машина Акимова ушла, Первушин сказал, обратясь к Уфимцеву, все еще стоявшему посреди кабинета со свертком в руках:

— Мне думается, Николай Петрович внес дельное предложение. Неплохо бы прикинуть, что получится.

— Уверен, что получится! — ответил за Уфимцева Попов. Он схватил стул, приставил к столу и, сев, стал загибать пальцы.— Во-первых, поля — там прекрасные земли, не чета нашим подзолам. Во-вторых, люди есть, есть кому работать, можно вводить трудоемкие культуры. И, наконец, в-третьих, и это, пожалуй, самое главное: тогда возможна будет специализация. Какая специализация? А вот такая: в Шалашах — свиноферма и откорм крупняка на мясо, в Полянах — молочно-товарная ферма и прифермское хозяйство, в Репьевке — основные зерновые посевы... ну и овцеводческая ферма. Короче сказать так: Шалаши — мясо, Большие Поляны — молоко, Репьевка — зерно.

— Здорово ты расписал! — рассмеялся Уфимцев, радуясь вспышке агронома.

У него в руках все еще находился сверток, который следовало передать Ане. Сверток жег ему руки, не давая по-настоящему сосредоточиться, подумать о предложении Акимова, которое, похоже, так по душе пришлось его помощникам. Он повертел сверток в руках, потом осторожно положил на стол.

— А птицеферму, Алеша, куда? — спросила Стенникова.— Ее кому подаришь?

— Птицеферму? — переспросил Попов и тут же, не задумываясь, ответил: — Ликвидировать! Эти куриные насесты только зря зерно переводят, одни убытки.

— Почему ликвидировать? — возразил Первушин.— В той же Репьевке или в Полянах можно построить птицефабрику, взамен, как ты их называешь, насестов.

— Ну, это дело будущего,— ответил Попов,— когда разбогатеем. А сейчас — только ликвидация, коль скоро речь идет о специализации и безубыточности хозяйства.

Первушин вновь возразил ему и начался между ними спор со ссылками на авторитеты, на чей-то опыт, на теоретические изыскания. Уфимцев слушал и вспоминал с улыбкой, как он, вскоре после приезда в «Большие Поляны», вот так же, как и Попов, решил ликвидировать куриную ферму и что из этого получилось.

А дело обстояло так. Прошлой весной он жил в колхозе один, семья еще находилась в Колташах — шел учебный год, и Аню задержали в школе до каникул. Жил он у брата, где и так было тесно, и он пошел искать квартиру. Векшин посоветовал ему поговорить с тетей Машей.

Только что прошел дождь — первый весенний дождь, и Уфимцев шагал прямо по грязи, ловко перепрыгивал через лужи, отражавшие серые, быстро плывущие облака. Дом тети Маши, чем-то похожий на свою хозяйку, такой же высокий и сутулый, с наклонившей-

ся вперед крышей, весело поблескивал окнами от заходящего солнца. Сама тетя Маша была где-то тут, во дворе, ее хрипловатый голос, надсадно звавший телка, разносился по всей улице:

— Ма-анька! Ма-анька! И где тебя носит, проклятущая скотинка!

Уфимцев открыл калитку и столкнулся нос к носу с хозяйкой.

— Батюшки, председатель! — всплеснула она руками.— И мокрехонький, как утоплик! Идитя скорея в избу, согрейтеся, изба топлена нонче.

Уфимцев подал тете Маше негнущуюся от холода ладонь и даже занес было ногу на крыльцо, как вдруг, откуда ни возьмись, большой черный петух с огненным отливом на груди, высоко взлетев, вцепился ему в плечо и стал клевать мокрый ватник, бить по спине крыльями. Уфимцев от неожиданности присел, потом запрыгал, завертелся волчком, пытаясь оторвать от себя петуха. Но тот сидел крепко, с плеча перебрался на спину, норовя клюнуть председателя в голую шею. Во дворе поднялся переполох, откуда-то повысыпали и закудахтали куры, кричала тетя Маша, переходя на визг, бегая вокруг Уфимцева, пытаясь ухватить петуха.

— Кыш, проклятый, кыш! Вот окаянный, заклюет председателя! Да не крутись ты, не крутись, подожди я его за шею схвачу.

Наконец Уфимцеву удалось поймать петуха за лапу, он стащил его с себя и зажал под мышкой. Тетя Маша с ликующей улыбкой схватила петуха под крылья и водворила в

коровью стайку. Порядок на дворе восстановился.

— Вот, видал, какой петух злой? — тяжело дыша, спросила тетя Маша.— Електрической!.. Они, електрические, все такие злые. И близко не подходи, заклюют.

— Как — электрические? — не понял Уфимцев.

— А с инкубатору. Они там все електричеством высиживаются и через то злые. Вот на нашей птицефирме сладу с ними нету, с петухами-то. День-деньской друг с другом дерутся, чистый цирк. Только ночью и отдыху от этих жеребцов.

— А что, много петухов на ферме?

— И-и! По три петуха на курицу. Вот как! Куриц-то всех, проклятущие, загоняли... Я в прошлом годе говорила Позднину: убери ты их ради бога, отруби головы да на базар. И деньги будут, и на фирме покой. Так нет, слышь, продержим до отчета, а уж потом... А потом сам захворал, не до петухов.

И пока Уфимцев входил в дом, тетя Маша успела его посветить в дела своей петушиной фермы. Оказывается, в позапрошлом году Позднин долго отказывался брать цыплят с инкубаторной станции по разнарядке управления под тем простым предлогом, что цыпленок — штука нежная — почему-то не выдерживает климата колхоза «Большие Поляны», гибнет. Дескать, одна морока с ними да убытки. Но в управлении не вняли этому доводу, Позднина вызвали в партком, крепко с ним поговорили, после чего, чуть не в середине лета, из последней инкубации цыплята были им

взяты и розданы по домам на сохранение и выращивание. Колхозницы вначале пошумели, но Позднин их уговорил — цыплят они взяли, подпустили к своим клушкам. За лето часть цыплят пала, но когда пришла осенняя пора, правление потребовало сдать всех уже подросших цыплят в том количестве, сколько их было роздано. Колхозницы вновь пошумели, но цыплят вернули, пополнив недостающее количество за счет своих петушков.

Так образовалась петушиная ферма, доставившая столько хлопот птичницам и неисчерпаемый источник материала местным острякам.

Сразу же после сева Уфимцев велел Векшину зарубить петухов и сдать в заготконтору райсоюза. Он долго ждал, что ему дадут нахлобучку за уменьшение поголовья птицы, но так и не дождался; наоборот, на одном из совещаний его даже похвалили, дескать, вот новый председатель проявил инициативу, помогает потребкооперации в удовлетворении потребностей населения. Видимо, в управлении забыли поглядеть в полугодовую сводку, а может, поглядели да не придали значения, не доложили по начальству. Но когда результаты года определились и обнаружилось, что кормов для птицы не остается, он пошел к Пастухову с предложением о ликвидации фермы. Пастухов его расчихвостил не только за это предложение, но и за сданных кооперации петухов, о которых он раскопал-таки в сводках, причем после не уставал напоминать об этом при каждом подходящем случае, так что Уфимцев проклял тот день, когда ему в го-

лову пришла эта блажная мысль.

— Хватит вам спорить,— прервал он своих помощников.— Предложение Акимова — предложением, соберемся как-нибудь в более широком составе и обсудим, а сейчас давайте по местам, до вечера еще есть время поработать.

Уфимцев остался один. Он вновь посмотрел на сверток, даже потрогал его рукой, словно пытался узнать, что там, но не стал развертывать, смирил любопытство. Потом повернулся к окну, взглянул через него на меркнувший день, пожевал в раздумьи губами: идти или не идти? Подумав, поднялся, взял сверток, надел кепку и вышел на улицу.

Он пошел вниз по селу, к дому тети Маши. Шагал он ровно, спокойно, будто вышел на прогулку. Прошел возле дома Поздниных, мельком взглянул на окна с опущенными занавесками, на закрытые наглухо ворота, и когда до дома тети Маши оставалось пройти самую малость, вдруг сбился с темпа, сбавил шаг, даже оглянулся назад, потоптался на месте в какой-то нерешительности и стал.

Стукнула напротив калитка, он машинально взглянул туда и увидел вышедшую Маринку. Она тоже увидела отца, подбежала, ткнулась лицом в рукав, потерлась, обрадованно подняла глаза.

— Ты где была? — спросил он.

— У девочки сидела.

Он помялся, прежде чем спросить ее о чем-то другом, поглядел в сторону дома тети Маши.

— Мама сейчас где?

— Дома должна быть.

Он опять поглядел вперед, словно измерял, сколько ему еще осталось идти туда, куда он так решительно шел еще совсем недавно, перевел взгляд на Маринку и вдруг протянул ей сверток.

— Унеси это маме. Из Колташей прислали.

И тут же повернулся, пошел обратно, боясь оглянуться, боясь встретиться глазами с недоумевающей Маринкой, еще не понимающей поступков взрослых, даже таких близких, как отец с матерью.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Будто кто подменил Векшина после памятного ему разговора с женой. Хотя иногда и приходили сомнения, что вряд ли Уфимцев испугается и уедет из Полян, когда сгорит его дом — начнет строить новый, но остановиться Петр Ильич уже не мог: он готов был на любой шаг, его устраивал любой повод, лишь бы сделать пакость Уфимцеву. Правда, избранный способ был не просто рискованным, а довольно опасным, но чего не сделаешь, если ненависть к председателю колхоза достигла своего предела. А чтобы отвести от себя всякие подозрения, он решился играть роль любезного, радетельного человека, даже перед теми, кого не переставал презирать.

Эта роль не очень противила ему, это была игра, а такая игра, как говорится в пословице, стоила свеч.

Прежде всего он постарался показать себя во время похорон Позднина. Все видели, как он торжественно, достойно имени покойного организовал похороны, как плакал на кладбище, когда опускали гроб в могилу. Петр Ильич постарался, чтобы не осталось не замеченным жителями села, как он заботливо отнесся к вдове бывшего председателя колхоза: распорядился подвезти дрова на топку, сена на зиму для коровы — пусть Агафья Петровна живет без хлопот.

А потом в разговорах с людьми, неизменно сводил речь к незабвенной памяти Трофима Михайловича, со слезой в голосе говорил о его заслугах, намекал, что теперь, после смерти Позднина, остался лишь он — Петр Ильич Векшин, продолжатель его дела и намерений, который еще думает о колхозниках, беспокоится, не спит ночи. Тем более при таком руководстве, как нынче...

Не зевала и Паруня. Но особенно потрудилась в появлении новых сплетен жена Теркина. И по селу поползли слухи, что председатель строит дом для продажи, хочет нажиться за колхозный счет. Большинство колхозников не верило слухам — не таков Уфимцев, чтобы заняться спекуляцией. Но были и такие, что засомневались: в самом деле, живет один, а строит себе такой большой дом — на три комнаты с кухней да еще с верандой.

Векшин слушал эти разговоры, ухмылялся про себя и радовался: дело идет на лад!

Он и сам при случае авторитетно подтверждал, что да, дом строится за счет колхоза, но как собственность нынешнего председателя, хотя прекрасно знал, решением правления определена его полная сметная стоимость, установлена рассрочка оплаты и Уфимцев регулярно вносит причитающуюся сумму.

Но слухи о доме — половина дела. Главное для Векшина — добиться, чтобы Аня бросила школу и уехала из колхоза. Пока она тут — Уфимцев не оставит «Больших Полян».

Однажды он нарочно заехал на птицеферму с целью увидеть тетю Машу, попытаться прощупать ее, выпытать о намерениях жены Уфимцева. Птицеферма теперь вышла из его подчинения, и вроде, причин являться туда не было, но он причину придумал, пока ехал.

Здание птицефермы — дощатый сарай, крытый тесом,— стояло чуть повыше мастерской. Было около полудня, день стоял пасмурный, но бездождный, хотя небо и закрылось сплошной пеленой облаков.

Привязав жеребца к колу изгороди, он прошел по выгульному двору, отпугивая лезущих под ноги кур, и заглянул в комнатку птичниц. Тетя Маша сидела возле теплой печки и вязала носок.

— Здравствуй, Шипкова.

— Здравствуй, здравствуй, Петр Ильич. Проходи, садися поближе к печке. Намерзся, небось?

Векшин помедлил садиться, вначале огляделся, хотя оглядывать особенно тут было нечего, кроме столика, кровати с серым одеялом да белёной кирпичной печки.

— А где вторая птичница?

— Отдыхает. Мы теперича посменно, по семь часов работаем: одна — с утра, другая — с обеду. Неделя пройдет — меняемся. Раньше бегали, как трясучки, а ноне новый зоотехник хорошо распорядился.

Тетя Маша приковалась глазами к спицам, к чулку и не обратила внимания, как напыжился Векшин, как налились гневом его глаза,— в простоте душевной она не заметила, что обидела заместителя председателя, отозвавшись одобрительно о зоотехнике.

— Вот что...— Векшин сел на табуретку, привалился боком к столику.— Я заехал узнать, как у вас тут... случаем, крыша не течет, починки не требует? И с дровами как?

— Дрова есть, запаслись на всю зиму,— ответила тетя Маша.— И помещение отремонтировали лучше некуды.

— Хм... Хм...— похмыкал Векшин.— Ну, если все в порядке, тогда я поехал дальше.

Он сделал вид, что встает, но будто вспомнив что-то, вновь опустился, повернулся к тете Маше, уперся руками в колени.

— Да, чуть было не позабыл узнать, как здоровье у твоей квартирантки-учителки?

— Здоровье ее хорошее. Не жалуется она на здоровье,— ответила тетя Маша.

— Оно и видно, квартирантка твоя с крепкими нервами. Не каждый выдержит такой конфуз от мужа. Ему-то что, сегодня с одной, завтра с другой, а каково ей с детьми?

Он замолчал, выжидательно посмотрел на тетю Машу — не клюнет ли она на его слова, как сорожка на червяка. Так и случилось:

тетя Маша бросила вязать, уставилась на Векшина.

— Обожди, чего ты плетешь: с одной, с другой... Ну, был у него грех с Грунькой, все знают, а теперь он хорошо живет, к бабам и близко не подходит. Уж я-то знаю, интересуюся.

— Ха-ха-ха! — деланно засмеялся Векшин.— Наивная ты, Шипкова! Разве такой бугай без бабы прожить может?.. С Дашкой он живет, скажу тебе по секрету.

— Не болтай! — замахала руками тетя Маша, но в глазах ее стоял неподдельный испуг.— Станет он вязаться с такой...

— Давно связался, еще как к ней жить перешел... И сейчас ходит, не забывает. Она баба подбористая, мужики таких уважают, не отказываются.

Он опять посмеялся, на этот раз веселее, откровеннее, видя, что тетя Маша стоит на распутьи: вот-вот поверит.

— Что-то я не войду в себя, ума не приложу... Ведь вот только, трех недель не прошло, была Анна Ивановна, говорила, будто на него с Грунькой напраслину сочинили, а ты тут такова наворочал, что...

Тетя Маша не договорила, растерянно уставилась на Векшина.

— Ничего не наворочал,— возразил Векшин.— Спроси Афоню. Он сам мне говорил, не раз заставал Егора с Дашкой в постели. Вот позавчера, прихожу, говорит, с фермы домой, пока овечек убирал, пока корма раздавал, уже и стемнялось. Только зашел в избу, а кто-то в сенях как загремит ведром, а

потом дверями стукнул. Я, говорит Афоня, глянул в окно, а наш председатель через прясло в огород лезет... Мне-то что, ни жарко, ни холодно, за что купил, за то и продаю. Женщину жаль, детишки ведь малые. Может, на что-то еще надеется, а он — видишь как...

Кажется, ссылкой на Афоню, мужа Дашки, он окончательно убедил тетю Машу, сломал ледок недоверия.

— Я ей, сучке, покажу! — только и сказала она про Дашку и быстро и зло заработала спицами.

Векшин поднялся.

— Ладно, Шипкова, я пошел, в Шалаши надумал съездить... Только ты уж никому не рассказывай о нашем разговоре,— сказал он тете Маше, но сказал не твердо, не обязывающе.— Егора не переделаешь, каков он есть. А людям — одна неприятность.

Тетя Маша ничего на это не ответила.

2

В Шалаши Векшин ехал в веселом, приподнятом настроении. Разговор с тетей Машей удался, сомнение в ней посеяно прочно и не может не дать всходов: она обязательно передаст разговор жене Уфимцева, и та не замедлит убраться отсюда под крылышко маменьки от неверного мужа.

Впереди ему предстоял разговор с Гурьяном Юшковым, бригадиром шалашовцев. Он давно намеревался с ним откровенно поговорить, но все как-то не получалось: то не было подходящего случая, то кто-то мешал, когда этот случай представлялся. Он считал Гурь-

яна своим вероятным сообщником, лишь затаившимся до поры до времени. Ведь не зря же тот голосовал против Уфимцева, не зря подавал заявление об уходе из колхоза на производство. Нет, Юшков лишь ждет поддержки, чтобы действовать, проявить себя. А поддержку он найдет в лице Петра Ильича — Петр Ильич поможет ему выбраться из колхоза.

Вот с такими мыслями и въезжал Векшин в Шалаши.

На краю деревни у большого типового здания свинофермы он остановил жеребца.

Работы уже подходили к концу, шла внутренняя отделка кормокухни: настилка потолков и полов, в запарочном отделении готовили места для котлов.

Он открыл дверь и чуть не наступил на Максима, укладывающего к порогу половые доски.

— Здорово, Максим Арсентьевич!

Максим поднялся, они поздоровались за руку. Оторвались от работы и другие плотники, подошли, тоже за руку поздоровались с Векшиным. На шум из запарочного отделения выглянул бригадир Герасим Семечкин, увидев Векшина, обрадованно улыбнулся, шагнул навстречу:

— А я думаю, кто это? Оказывается, сам товарищ зампред. Ну, сколько лет, сколько зим!

Они пожали друг другу руки и уселись на скамье, наскоро сколоченной из неструганной доски. Глядя на них, расселись и остальные, кто где присмотрел, приспособился — устрои-

ли общий перекур. Из запарочной подошли еще — собралось человек десять, хоть собрание открывай!

— Что у вас нового? — начал разговор Векшин.

— Дак кончаем,— ответил бригадир.— Мы, строители, завсегда свое слово держим. Сказали: к Октябрьским сделаем, так оно и будет.

— А в праздник обмывать станем,— добавил Максим; он сидел на подоконнике, прочищал фуганок, подгонял лезвие.

— Точно! — тряхнул головой Семечкин.— Перекур себе маленький устроим, денька на три... Ты, как зампред, распорядись там, прикажи Нюрке Севастьяновой, пусть забронирует для нас пару ящиков московской. А закуску — сами найдем, огурцы нынче ядреные в засол пошли. Да и груздями бабы подзапаслись.

Плотники засмеялись, загалдели, кто-то вскричал; «Мало двух ящиков на таку ораву».

— Ладно, устрою, если в компанию позовете, обносить стаканом не будете,— ответил Векшин тоже шуткой на шутку бригадира.

И пошел разговор о том, о чем всегда с охотой говорят мужики: кто и где и как провел прошлый праздник, сколько выпил да сколько съел, да все со смехом да с шуточками, с прибауточками. И кажется, не будет конца этому пустобреху. Но вот бригадир, загасив окурок, погладив усы, вдруг посерьезнел, поднялся и сказал:

— Все! Хватит на этот раз! Работа ждет, по нас плачет.

И когда вслед за бригадиром поднялись и остальные, добавил, обращаясь к Векшину.

— После праздника по плану к детсаду приступаем, так ты с материалом позаботься, не подведи. Чтобы строитель завсегда ресурс имел... Нам к новому году с детсадом управиться положено, а времени остается в обрез.

— Не надо было посторонними делами увлекаться,— сказал, вставая, Векшин, тоже становясь серьезным, начальственным.

— Какими посторонними? — воззрился на него Семечкин. Насторожились и рабочие, пошедшие было по своим местам, сгрудились около дверей.

— А дом председателю кто выхвалился строить? Не ты? А там пять человек занято, оторваны от основных работ.

Рабочие враз потеряли интерес к разговору, кто-то из них даже разочарованно свистнул, и они ушли. Остались бригадир, Максим да еще двое плотников.

— Дом председателю — не постороннее дело,— вразумительно, точно ребенку-несмышленышу ответил Семечкин.— Государственное дело, если хотишь знать... А с рабочими — укомплектуемся, у нас теперь резерв есть. На коровник перейдем — покажем класс работы!

— На какой коровник? — спросил Векшин.

— А ты, похоже, не в курсе? На днях председатель был, рассказывал, после праздника хочет бригадку в лес послать, бревна готовить, на будущий год новый коровник бу-

дем строить. Да типовой, говорит, с механизмами.

— Это еще зачем! И этих помещений хватает,— возмутился Векшин.

Он и впрямь ничего не слышал, никто ему не говорил. Не иначе, как новые выдумки Уфимцева,— деньги завелись, торопится растранжирить.

— Надо, Петр Ильич, надо,— сказал Семечкин, берясь за дверную скобу, намереваясь идти в запарочное отделение.— Разве не видишь, как жизнь поворачивается?

Он ушел. И Векшин, все еще находясь под впечатлением услышанного от Семечкина, тоже вышел и пошел к оставленной на дворе лошади, чтобы ехать к бригадиру Юшкову. Лишь подойдя к тарантасу, он вспомнил, что не поговорил с Максимом. А поговорить ему с ним надо...

Он оглянулся вокруг — на угрюмый поосеннему лес, возле которого паслись свиньи, на близкие избы Шалашей, на солнце, чуть просвечивающее сквозь облачную муть, задрал рукав, посмотрел на часы и решительно повернул обратно. Открыв дверь, крикнул:

— Максим Арсентьевич, выдь на минутку.

Вышедшего Максима он взял под локоть, отвел подальше от кормокухни и, остановившись, сказал доверительно:

— Хочу тебя в известность поставить... Получил сообщение, комиссию из ЦК высылают по нашему письму.

Он врал Максиму о сообщении — никакого сообщения не было; он и сам не раз удивлялся, почему до сих пор нет ответа на письмо.

Врал и заглядывал в глаза, как тот воспримет это чрезвычайной важности событие.

Но Максим почему-то не обрадовался, чего ожидал от него Векшин, опустил голову, пошарил глазами по земле, увидел сосновую шишку, пнул ее сапогом, проследил, куда упала.

— Ни к чему теперь комиссия,— ответил, наконец, он и посмотрел прямо в ждущие глаза Векшина.— Хлебушка дали, до новин хватит... И денег обещают по два рубля за трудодень. Это я, почитай, три тыщи годовых получу. Когда я раньше такие деньги имел?

— Три тысячи? — переспросил Векшин и коротко, с издевкой похохотал.— И ты, чудак, этому веришь? Болтовня это все, скажу я тебе! Сказки! Никаких ты денег не получишь. Слышал, председатель дворец для коров намеревается строить? Вот куда пойдут наши денежки! Уж я-то знаю, все же заместителем председателя работаю. Вот так-то!

Он похлопал Максима по спине, даже ткнул его легонько в плечо, чтобы войти в доверие, образумить заблуждавшегося колхозника. Но Максим никак не реагировал на это проявление нежности Петра Ильича.

— Выходит, не все знаешь, хоть и заместитель,— ответил Максим.— Лидка, дочь моя, теперь в бухгалтерии сидит, рассказывала, ведомость на аванс к Октябрьским праздникам составляют, да не по полтиннику, а по два рубля, да за старые месяца по рублю. Уж она-то врать не станет.

Будто не словами, а топором, который держал Максим в руках, ударил он Векшина;

земля закачалась под ногами Петра Ильича, но он справился со своей слабостью, сжал зубы, процедил сквозь них:

— Ну, смотри, смотри... Потом пожалеешь, поздно будет.

И, не прощаясь, пошел к лошади.

Он был страшно расстроен неудачей с Максимом — кого-кого, а Максима он всегда считал единомышленником. Никто иной, как Максим подал мысль написать письмо в Москву, и вот теперь тот же Максим поет поиному, видимо, успел попасть под влияние братца, а может, сказалась родная кровь.

Въехав в Шалаши, он неожиданно для себя ощутил какие-то изменения в жизни деревни, в самом ее облике. Он увидел жилыми еще не так давно заколоченные дома, свежие крыши на них, новые ворота на усадьбах, увидел подвезенные ко дворам бревна и слеги. Возле одного двора лежала сваленная с машины куча досок и два мужика — они показались ему знакомыми — складывали их в штабель. Векшин ехал и удивлялся: что тут происходит? Откуда эти люди?

Но вот и самоваровский дом. Он встретил его криками, возней ребятишек,— видимо, в школе началась перемена. Векшин оглядел дом с крыши до фундамента — дом был еще крепкий, основательный. «А ведь мог быть моим»,— невольно подумалось ему.

Его удивление еще больше возросло, когда за самоваровским домом он увидел разваленную избу Гурьяна Юшкова, свежие бревна, кучу мха и плотников, заложивших дом-крестовик на высоком каменном фундаменте.

Векшин был поражен этим зрелищем, поражен до кончиков занемевших пальцев. Среди плотников он признал своих однодеревенцев — бывших шалашовцев, убежавших в свое время из колхоза и пристроившихся в лесничестве. Увидел он и хозяина нового дома Гурьяна Терентьевича Юшкова; тот стоял в проеме будущих дверей и смотрел оттуда на подъезжавшего зампреда.

И у Векшина пропало желание говорить с Юшковым. Он отвернулся от него, проехал мимо, сделал вид, будто едет в лесничество, но проехав дома два, повернул в проулок, вытянул кнутом по спине ни в чем не повинного жеребца и помчался вскачь по узкой лесной дорожке, сам не зная куда, лишь бы подальше от всего, что он тут увидел.

3

Предложение Векшина поджечь дом Уфимцева не на шутку перепугало Тетеркина. Хотя он и дал согласие, однако понимал, что в случае провала виновнику поджога не миновать тюрьмы. По природе Тетеркин был труслив и если замышлял что-то «провернуть», старался делать это чужими руками, а сам всегда оставался в тени. А тут Векшин прижал его так, что ничего не оставалось, как взяться за дело самому. Он долго колебался, долго трусил, не решался на это. Векшин угрожал, настаивал, говорил, что ему это должно легко удаться, главное, улик не будет: человек находился на посту в другой стороне села. И Тетеркин решился.

Он не забыл еще обиды, нанесенной ему Уфимцевым, когда был снят с комбайна за какие-то полкилограмма зерна, обнаруженные Поповым в карманах его шаровар, и то чувство унижения, которое испытал он, вынужденный плакать перед Уфимцевым, просить о снисхождении, чтобы не попасть в руки прокурора. Он не забыл и того, как пренебрег им Уфимцев, не дав руководящей должности, и как он — бывший председатель колхоза, человек в расцвете сил, ума и опыта, сидит теперь ночным сторожом на ферме, словно девяностолетний старик.

И вот однажды после полуночи, когда село уже спало, он вышел из сторожки, прикрыл дверь, огляделся по сторонам. Ночь стояла темная, беззвездная, самая воровская, ничего не видно даже за пять шагов. И тишина такая, как в погребе. И ни огонька вокруг — дизель теперь останавливали на ночь, и лампочки в селе после полуночи гасли.

Он посмотрел на окно сторожки — керосиновая лампа чуть горела, бросала свет на низенькую завалинку. Он нарочно не погасил лампу — пусть видят, сторож тут, рядом ходит, скот стережет. Зажав покрепче под мышкой завернутую в газету бутылку с бензином, он, тихо крадучись, стараясь не греметь ботинками, пошел по склону Кривого увала, думая обойти село с юга, выйти в нижний конец, где стоял дом председателя, уже подведенный под крышу, но с пустыми, еще не окосяченными проемами. Бутылку он из дому с вечера прихватил. Работая в мастерской, не раз сливал из моторов бензин — понемножку, в ба-

ночку, в пузырек,— и уносил домой, хотя и не было большой нужды в нем, брал просто так, по привычке. А вот теперь пригодился!

Идти пришлось по косогору, ботинки скользили, и он не раз падал на колени, не видя в темноте, куда ставит ногу, и попадал то в яму, то запинался за бугорок или камень. Ориентиром служила изгородь, шедшая по увалу. Иногда доходил до нее, чуть темневшей в черноте ночи, приваливался к жердям, прислушивался к звукам со стороны села, отдыхал.

Пока все шло благополучно. Он оставил позади центральные склады, потом присевшую, как клушка, слившуюся с землей птицеферму, вышел к мастерской. В одном из ее окон горел свет. Теркин, боясь встречи со сторожем мастерской, далеко по увалу обошел ее. Дальше, за мастерской, опасаться было нечего, он спустился ближе к огородам, местность стала ровнее, идти было легче и он ускорил шаги, пошел подле прясел, рассчитывая по ним выйти на край села.

И тут, когда прошел значительно больше половины пути, прошел самые опасные места, где можно встретить человека, вдруг услышал негромкие, приглушенные голоса людей. От неожиданности он присел, вытянул шею, напрягся весь. Кто-то шел переулком между огородами, он явственно слышал шаги. Теркин подождал немного — шаги направлялись в его сторону. Ему бы тихонько перелезть через прясло и залечь в огороде, а он так перепугался от встречи с людьми, так перетрусил, затрясся, как заяц, услышавший

голос гончей, что, не соображая ничего, кинулся бежать в сторону увала, подальше от села. Видимо те, кто шел, услышали топот, закричали: «Стой! Кто такой?», но он бежал, что есть мочи, прижав бутылку к груди. Приостановившись на миг, понял, что за ним тоже бежали, и вновь припустил, надеясь убежать, исчезнуть, раствориться в темноте. Он запыхался, поднимаясь на увал, и так задохся, что ничего уже не слышал, кроме собственного сердца, которое колотилось не в груди, а где-то в ушах. Но вот и изгородь. Он дотянулся до кола, полез через жерди, но тут его схватили за штаны, за пиджак, стянули обратно. Он обернулся — перед ним два парня из «Комсомольского прожектора». Он знал их, они не раз были на ферме, проверяли, как он сторожит. До сих пор все обходилось.

Один из парней, тот, что повыше, снял с Тетеркина шапку, вгляделся в лицо.

— Куда так спешил, товарищ Тетеркин? — спросил он его насмешливо, голосом, еще не успокоившимся от быстрого бега.

Тетеркин стоял, привалившись спиной к изгороди, хватал воздух ртом, никак не мог отдышаться. Мозг его лихорадочно работал, мысли прыгали, кружились, сменяли одна другую, но там, где-то внутри мозга торчало, как кол, не уходило никуда одно тревожное: «Попался! Теперь суд... тюрьма...»

— Чего молчишь? Говорить разучился? — уже со строгостью спросил высокий.

— Не... не разучился,— с трудом, с одышкой проговорил Тетеркин.— Напугался шибко... напугался, товарищи.

— Кого же ты напугался?

— Думал, чужой кто... воры либо бандиты. Вот и напугался.

Парни засмеялись. Особенно раскатисто захохотал маленький, даже скорчился от смеха.

— Ну и врать ты, дядя... А куда шел?

— Домой шел... Не успел поужинать, думаю, схожу, пока спокойно, возьму хоть хлебца да молочка.

— А чего же ты свой проулок прошел?

— Заблудился, видно... Темно ведь.

Парни отступили на шаг от Тетеркина, повернулись к нему спиной, о чем-то посовещались полушепотом, и высокий сказал весело, подавая Тетеркину шапку:

— Пойдем в правленье, там разберемся, чей ты и откуда.

И они пошли — Тетеркин посередке, парни по бокам,— прошли переулок, вышли в улицу, дошли до правления. Контора встретила их темнотой и безжизненностью, и они двинулись на огонек к пожарке.

Всю дорогу Тетеркин мучился в мыслях, не знал, как выпутаться из создавшегося положения, не раз просил парней отпустить его на ферму — там скот без надзора, но парни оставались непреклонны, отвечали односложно: «Двигай, дядя. Разберемся и отпустим».

Только войдя в сторожку и увидев дядю Павла, бывшего горючевоза, ныне заменившего на пожарке Архипа Сараскина, Тетеркин к ужасу своему обнаружил, что держит в руках бутылку с бензином. Когда его поймали, он так растерялся, что совсем забыл о

ней. Бутылку следовало сразу же выбросить, как только побежал от парней, а он бежал с ней, с этой неопровержимой уликой. Метнув вороватo глазами, Тетеркин прижался к печке и сунул бутылку за нее. Но его не очень ловкое движение не укрылось от парней, маленький оттер Никанора Павловича от печки, вытащил бутылку, освободил от газеты.

— А это что? — спросил он.

Тетеркин задрожал, его забил озноб. Он сел на табуретку, сжался, обхватил руками колени. Парни открыли бутылку, понюхали, маленький даже лизнул языком горлышко.

— Бензин,— заключил он.— Откуда бензин? Для какой цели?

— Какой бензин? — забормотал, словно пьяный, Тетеркин.— Не знаю никакого бензина... Не видал. Что вы пристали? На кой ляд мне ваш бензин...

Парни посмотрели друг на друга, и высокий сказал дяде Павлу, спокойно наблюдавшему всю эту картину:

— Открой, пожалуйста, кладовку. Пусть побудет тут до утра, утром отведем в контору.

Дядя Павел встал, открыл кладовку, где хранился овес для лошадей, парни взяли под руки совсем обессилевшего Тетеркина, втолкнули в кладовку и заперли на замок. Потом высокий ушел, маленький остался с дядей Павлом.

4

Утром, как только в конторе появился Уфимцев, к нему вошел чем-то взволнованный Попов. В кабинете никого из посторонних не

было, и он, подсев к столу, сказал торопливо, позабыв поздороваться:

— Ночью комсомольцы сторожей проверяли, Тетеркина поймали на Кривом увале. С собой нес бутылку бензина.

Уфимцев поднял голову:

— Ну и что?

— Спрашивали, куда ходил,— плетет разную чепуху. Врет, путается.

— С бензином, говоришь?

— Да, бутылка бензина.

— А где его поймали?

— За огородами. В нижнем конце села.

Уфимцев подумал о чем-то, побарабанил пальцами по столу.

— Где он сейчас?

— У меня сидит, ребята привели... Они его на ночь в кладовку на пожарке запирали.

— Как — запирали? — отшатнулся Уфимцев.— Арестовали, что ли?

— Я уж их ругал, Георгий Арсентьевич,— вскочил покрасневший Попов и полез в карман за расческой,— думаю на бюро обсудить. Но что с ними поделаешь? Они же без умысла. Говорят, очень подозрительно Тетеркин вел себя, пытался убежать... И эта бутылка с бензином.

Уфимцев опять побарабанил пальцами по столу.

— Где Векшин?

— Векшин у себя.

— Скажи ему, пусть зайдет. И веди Тетеркина... А парней вздуй, как следует, за нарушение законности. Куда бы он, ваш Тетеркин, к черту, делся!

Всю ночь Тетеркин не спал, сидел на мешках с овсом, слушал, как похрапывал дядя Павел, как ходил поить лошадей, задавать им корму. И думал о том, что теперь уж он наверняка пропал, не вырваться ему из рук Уфимцева, передаст тот его прокурору, а от того дорога одна — в тюрьму.

Он клял себя на чем свет стоит за то, что согласился на предложение Векшина. Хотя Векшин и пугал его, что раскроет глаза кому следует на то, как Никанор Павлович себе дом обновил, но шут с ним с домом, пусть бы наказали штрафом, пусть даже отобрали дом, это ничто по сравнению с тем, что он теперь получит.

К утру, когда в кладовке стало светлеть, он немножко успокоился, показались напрасными его страхи: ведь никто не застал его на месте преступления. Мало ли куда ходил ночью, может, краля на стороне завелась,— кому какое дело? А бензин?.. И тут можно что-то придумать, можно как-то извернуться, лишь бы главное не раскрылось. Пусть поругают за уход с поста, за нарушение дисциплины, пусть даже снимут с работы — подумаешь, какая беда!

И когда его привели к Попову, он долго и деланно возмущался незаконным арестом, грозился жаловаться, передать дело в суд.

Вскоре в комнате появился Векшин, это еще больше придало смелости Никанору Павловичу: кто-кто, а Петр Ильич не даст в обиду, поможет выпутаться.

Но Векшин, увидев Тетеркина в конторе в такое неурочное для него время, причем в соседстве с Поповым и двумя комсомольцами,

увидев бутылку с бензином на столе, сам вначале перепугался, не знал, как себя вести. Лишь после, из препирательств Тетеркина с парнями, он понял, ничего страшного не произошло, его соумышленник попался в самом начале задуманного предприятия. Злость, неожиданная, едва сдерживаемая злость на Тетеркина вдруг взбурлила в Векшине. Какой дурак этот Тетеркин! Не сумел осуществить такого простого дела... Он не стал вмешиваться, помогать Тетеркину: пусть выкручивается сам.

Вскоре Попов их позвал к Уфимцеву. Векшин пошел туда с охотой,— все же боялся, как бы не проговорился Тетеркин, хотя и надеялся на его изворотливость. Войдя в кабинет, сел поближе к Уфимцеву, давая понять, что он тут лицо объективное, независимое.

— Так что же случилось, Никанор Павлович? — спросил Уфимцев, приглядываясь к Тетеркину, ставшему у двери.— Почему ты оказался не на ферме? Да ты подходи поближе, не стесняйся.

Тетеркин сделал два-три шага и опять остановился. Он без шапки, шапку, как проситель, прижимал к груди, но вид у него был совсем не просительский.

— Я требую привлечь к ответственности нарушителей моего права... моей личности. Как свободный человек, я...

— Ты извини, что перебиваю,— остановил его, морщась, Уфимцев.— Ребят мы накажем за самоуправство. Придет их черед... А сейчас ответь на вопрос, куда ты направлялся с бутылкой бензина?

Векшин выпрямился на стуле, казалось, даже приподнялся чуть-чуть и так замер.

— Никуда не направлялся. Из дому шел,— без тени смущения ответил Тетеркин, а в глазах его стоял страх — далекий, глубоко запрятанный, но видный.— Ужинать ходил. Жена припоздала с фермы, не покормила вовремя, вот я и... пока с вечера спокойно.

— Ты же вчера ребятам говорил, что не с ужина, а на ужин шел,— заметил Попов. Он стоял у стены, за спиной Векшина.— Чего ты крутишь?

— Врут твои ребята, сами крутят. С ужина я шел. Жену спросите, если не верите.

— А бутылка с бензином зачем? — напомнил Уфимцев.

— Эх, товарищи! — Тетеркин сильнее прижал шапку к груди, посмотрел жалостливо на председателя.— Время-то какое? Осень, холода, изпростыл весь, чирьями покрылся. Всю ночь ходишь, ходишь... Вот и хотел маненько погреться. В чулане бутылка самогону у меня хранилась на всякий случай, дай, думаю, унесу на ферму. Придешь с обхода да с горячим чаем, очень даже пользительно. Да, видно, в потемках не ту бутылку схватил.

По-видимому, Векшин остался доволен ответом Тетеркина. Он откинулся на спинку стула, посмотрел снисходительно на Уфимцева, усмехнулся в бороду.

— А как же ты в другой стороне и от дома и от фермы оказался? — не отставал Уфимцев.— Вон где, в нижнем конце села!

— Напугался, товарищ председатель... дружинников. Увидел их и напугался, думал,

засекут, что не на дежурстве. Вот и побежал... А ночь, темень, хотел за мастерскую забежать, да, видно, заблудился... Ну и мотанул в поле, думал, полем к ферме выйду. А тут они и наскочили...

— Врешь ведь, Тетеркин! — не выдержал Попов.— Тебя ребята подняли, как зайца, за огородом Позднина. А переулок от твоего дома — вон где! И с бутылкой бензина — врешь! Ты вчера говорил, не твоя, не знаешь никакой бутылки, а сегодня... Георгий Арсентьевич, разрешите ребят позову, они подробнее все расскажут.

— Не надо,— ответил Уфимцев.

Он и сам понимал, что Тетеркин врет, причем врет не очень складно. Все же интересно было бы узнать, откуда и куда он мог в полночь идти с бутылкой бензина? Вернее всего, шел от мастерской, воспользовался ротозейством сторожа, слил бензин из какой-нибудь машины в бутылку и решил унести домой. А тут навстречу комсомольский патруль, Тетеркин — вниз, за огороды. Если зерно в карманы насыпал, не считал за воровство, что ему стоит взять бутылку бензина — в хозяйстве пригодится.

Если бы только Уфимцев знал хоть чуточку правды, или бы просто догадывался о том, для чего предназначена эта бутылка бензина! Но ему и в голову не могло прийти, чтобы кто-то в наше время мог сознательно решиться на такое: поджечь дом председателя колхоза. Подобное случалось лишь в период классовой борьбы в деревне в двадцатые годы. Пусть в данном случае преступником ру-

ководила личная месть, все равно, она была немыслима. Поэтому Уфимцев лишь развел в недоумении руками, видя бесполезность дополнительных расспросов Тетеркина.

— Что с тобой делать, Никанор Павлович? Простили мы тебе один проступок, видимо, впрок не пошло. Причем, я предупреждал тебя не забывать об этом...

— Следует сдать его в милицию, там разберутся: куда шел, зачем шел. И тот старый случай пусть учтут,— предложил Попов.

Все время, пока шел разговор с Тетеркиным, Уфимцев старался не глядеть на своего заместителя. Он нарочно его позвал, чтобы не было потом кляуз, будто Уфимцев мстит Тетеркину за письма в партком. Но теперь, после предложения Попова, он посмотрел на молчавшего Векшина и спросил:

— Какое твое мнение, Петр Ильич?

Векшин беспокойно завозился на стуле: до милиции Тетеркина допускать нельзя, вдруг перепугается и проговорится.

— Полагаю, надо войти в положение, человек чистосердечно признался в своем проступке: ушел с фермы в неурочное время... поужинать. А что дружинников испугался, побежал, так хоть до кого доведись: шел с самогоном, а тут навстречу патруль, ну и испугался, побежал, да не в ту сторону. Со всяким может случиться... А Никанор Павлович — человек самостоятельный, никаких замечаний по работе не имеет, сколько раз проверяли. Какая погода стояла — и снег, и дождь, а он всегда на посту, ни одной охапки сена, ни одной головы скота не пропало.

И тут, к изумлению всех, Тетеркин вдруг захохотал — сначала тихонько так, с паузами, а потом все громче, все безудержнее, и вот уже хохот перешел в истерику — он корчился от смеха, закрывал рот ладонью, но удержаться не мог, наконец, упал грудью на стол, уткнул лицо в шапку и приглушенно замычал. Плечи его тряслись, голова качалась из стороны в сторону, неожиданно послышались стоны, всхлипы, он что-то неразборчиво проговорил и... разразился слезами. Видимо, то нервное напряжение, в котором он провел и ночь и утро, теперь, после защитительной речи Векшина, ослабло и разрядилось — вначале смехом от вдруг нахлынувшей радости, что все обошлось, тюрьмы не будет, но смех, против его воли, перешел в слезы, но это были тоже слезы радости.

Слезы всегда вызывают жалость, особенно когда плачет взрослый человек. Но сейчас они создавали тягостное впечатление, особенно у председателя, хотя слезы были настоящие, неподдельные, не как тогда, у комбайна.

— Подай ему воды,— сказал он Попову.

Тот налил в стакан воды из графина, брезгливо тронул за плечо Тетеркина. Тетеркин отнял шапку от лица, взял стакан, жадно выпил воду.

— Отпустите меня,— сказал он, задыхаясь от слез, от выпитой воды.— Отпустите из колхоза... Не могу я больше... не могу оставаться.

Эта неожиданная просьба, сменившая истерику, удивила всех, больше всего Векшина.

— Куда же ты намереваешься уехать? — спросил Уфимцев.

— Куда хошь, хоть на край света, только не тут, не в колхозе.

Уфимцев помолчал, потом перевел взгляд на Попова:

— Как ты думаешь?

Попов безнадежно махнул рукой:

— Черт с ним, пусть уезжает. Пусть катится на все четыре стороны, воздух будет чище.

Уфимцев поколебался: не припишут ли ему чего-нибудь опять после отъезда Тетеркина? Но, подумав, решил: прав Попов, гнать надо таких из колхоза, пользы от них на грош, а неприятностей — не оберешься. А приписать — не припишут. Да если и припишут к тому, что уже есть, это не так и много. Он не стал спрашивать мнения Векшина, наперед знал, что тот будет против: лишается помощника в борьбе с председателем.

— Хорошо, согласен. Отпустим как отходника. Куда поедешь — дело твое.

— Совсем отпустите. Навсегда! Продам дом в степь и уеду.

— Дом продать на сторону не разрешу. Сдай по страховой оценке колхозу.

— Это за такую цену сдать? — взъерепенился Тетеркин.— Да ни в жизнь! Лучше сожгу, чем вам отдам!

— Сожжешь — судить будем,— ответил Уфимцев.

Тетеркин еще что-то кричал, но в кабинет стали заходить люди, и он ушел.

На следующий день Тетеркин заколотил досками окна дома, погрузил на подвернув-

шуюся машину пожитки, семью, даже корову, и уехал в сторону Коневского леспромхоза.

Узнав об этом, Уфимцев вызвал Векшина и приказал ему: дом открыть, переселить в него зоотехника с семьей.

Векшин выслушал молча, покорно, ни словом не возразил и ушел.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Снег выпал нынче рано, в конце октября.

Еще вчера, идя домой, обводя взглядом небо, Уфимцев подумал об уходящей осени, о делах, которые следовало провернуть до снега. Но небо висело пустое, лишь с севера протянулись длинные языки тонких облаков. Казалось, ничего не предвещало скорой зимы. Так же, как всю последнюю неделю, дул несильный ветер, так же было холодно — земля подмерзла, лужи подернулись ледком к радости ребятишек, снующих по ним с утра до вечера.

А проснувшись утром, чуть приоткрыв глаза, он неосознанно вдруг почувствовал, что за ночь в природе произошли изменения. Торопливо поднявшись, протопав по холодному полу к окну, он отодвинул занавеску — и застыл: за окном все было бело от снега. Снег лежал чистый, нетронутый, по нему еще никто не ходил, не ездил.

Одевшись, Уфимцев вышел на крыльцо. Было тихо, безветренно. Куда ни посмотри —

на крыши домов, в огороды, в дальние поля — всюду белая пелена снега, словно неведомый волшебник покрыл захолодавшую землю покрывалом, чтобы было ей тепло и уютно.

Сколько Уфимцев видел в своей жизни таких зим, и каждый раз они вызывали в нем чувство новизны, будто видел это впервые. И эту зиму, хотя и ждал с некоторой тревогой — научил прошлогодний опыт,— но вот увидел снег, высокое небо и на нем зимнее солнышко, и сразу забилось радостью сердце, захотелось спрыгнуть с крыльца, набрать полные пригоршни снега, намять хороший комок и запустить в кого-нибудь, как бывало в детстве, в школьные годы.

Он даже рассмеялся, вспомнив, какое это было удовольствие, и уже спустился с крыльца, намереваясь погрузить руки в снег, как его остановил голос хозяина дома Никиты Сафонова, вышедшего из коровьей стойки с лопатой в руках.

— Вот и зимушка-зима пришла! Придется, Егор Арсентьевич, менять обувку-то, в пимы обряжаться.

Уфимцев наклонился, посмотрел на свои сапоги, давно нечищенные, с побелевшими носами, подумал, что валенки остались там, у тети Маши, и что надо за ними кого-нибудь послать.

По дороге в контору он догнал Стенникову, и они пошли вместе.

— Вчера из парткома звонили, напоминали об отчетно-выборном собрании. Так что я сегодня уйду пораньше, надо подготовиться.

— Буду иметь в виду... А кто представителем парткома?

— Василий Васильевич.

— Кто? Степочкин? — переспросил Уфимцев и даже приостановился от удивления.— Опять Степочкин?! Мало он мне крови попортил!

И Уфимцев остервенел. Он шел и ругался, Анна Ивановна просто не узнавала его. Только раз она видела Уфимцева таким — на заседании бюро парткома, но там Акимов не давал ему воли, а тут он припомнил Степочкину все, начиная от совместной работы в кинотеатре Колташей до сбора им заявлений и анонимок в колхозе.

— Успокойтесь, Георгий Арсентьевич,— тоже взволновалась Анна Ивановна, торопясь и не поспевая за ним.— Какая разница: Степочкин или кто другой? Все зависит от наших коммунистов, не от представителя. Не он решает, собрание решает.

Но Уфимцев успокоиться не мог. Придя в контору, тут же, не заходя к себе, позвонил Акимову, намереваясь уговорить его прислать другого, более объективного представителя. Но Акимова в парткоме не оказалось — проводил отчетные собрания где-то в степной части района.

Если для Уфимцева приезд Степочкина был не просто нежелателен, а даже недопустим после всего, что произошло на бюро парткома, то Векшину этот приезд показался чем-то вроде манны небесной.

Он был удручен неудавшейся попыткой Тетеркина поджечь дом председателя и хо-

дил мрачный, надломленный. Даже день рождения жены, который он всегда отмечал торжественно и щедро, прошел нынче вяло и скучно.

Уфимцев оказался неправ, предполагая, что Векшин не согласится отпустить Тетеркина. Наоборот, теперь Тетеркин ему был не только не нужен, но даже лишний, как бывает лишним свидетель совершенного преступления. Он не боялся этого свидетеля, однако и не мог выносить его, не оправдавшего надежд, зная к тому же, что на такого труса в дальнейшем рассчитывать нельзя.

Векшин был извещен о предстоящем партийном собрании и ничего хорошего для себя от него не ждал. Вряд ли Стенникова и Уфимцев простят ему то, о чем они осведомлены: о противоборстве их действиям, о натяжках в письмах парткому.

И когда услышал, что представителем парткома на собрании будет Степочкин, он воспрянул духом, перестал опасаться, уверовав, что теперь все обойдется по-хорошему.

Дождавшись утра, он пошел на квартиру, где остановился Степочкин.

Зима прочно обосновалась в Больших Полянах. Погода стояла самая зимняя, но не очень холодная, к тому же тихая и прозрачная; снег лежал мягкий, нехрусткий, накатанный полозьями саней, ноги шагали по нему как бы сами — легко и свободно, и Векшин шел, громко здоровался со встречными, со знакомыми стариками, ширкавшими метлами подле своих ворот.

Степочкин завтракал. Сидел он в горнице за столом наедине с большим шумящим самоваром — хозяйка встретилась Векшину во дворе, шла доить корову.

— А-а, товарищ Векшин,— сказал Степочкин, вкусно причмокивая,— здравствуй, здравствуй. Проходи, садись завтракать.

— Спасибо. Уже... было дело.

Векшин огляделся, высмотрел стул у стены, сел осторожно на него. А Степочкин между тем налил чаю в стакан, положил сахару, помешал ложечкой, долил чайник из самовара и, взяв нож, стал намазывать масло на ломтик хлеба.

— Что скажешь, товарищ Векшин? — спросил Степочкин.

— Да вот зашел... Навестить, как говорится,— Векшин заулыбался, задвигался на стуле.— Узнать, как устроились.

— Спасибо. Устроился хорошо... Что у вас новенького?

— Новенького у нас — хоть отбавляй. Теркину пришлось колхоз покинуть.

— Что так?

— Выжили... Уфимцев выжил, мстит за письма к вам. Придирался то к одному, то к другому, и он был вынужден уехать. С семьей уехал, дом бросил.

— А Уфимцев как? Как себя ведет?

— А что Уфимцеву? Дом строит. Люди говорят, построит — продавать будет... в степь.

Векшин не спускал глаз со Степочкина, ждал, как отреагирует Василий Васильевич на его сообщение. Степочкин сидел к нему

боком, не спеша ел, и лицо его ничего не выражало.

— С женой он еще не сошелся,— добавил Векшин.— И вряд ли сойдется... С Дашкой живет, как и жил.

Степочкин допил стакан, поставил на блюдце, отодвинул от себя, потом повернулся к Векшину:

— Так вот об этом обо всем, товарищ Векшин, ты и расскажи на собрании. Да с фактами в руках, а не вообще... Да расскажи, как ты, коммунист, заместитель председателя колхоза, выполняешь авангардную роль. И тоже на примерах, да с фактами.

Векшин недоуменно заморгал, захлопал веками — он ничего не понимал из того, что говорил Степочкин. Понял лишь одно: Василия Васильевича, похоже, подменили, перед ним сидел не защитник его интересов, а кто-то другой, но кто — он еще не разобрался.

Да, плохо Петр Ильич знал Степочкина. Василий Васильевич, как хорошо смазанный флюгер, который бесшумно поворачивается туда, откуда дует ветер, изменил направление. Уже с бюро парткома, на котором рассматривалось дело председателя колхоза «Большие Поляны», он многое вынес. Во всяком случае, понял, что песенка Пастухова спета, за него дальше держаться нельзя — Семен Поликарпович наверняка полетит с той горы, на которую забрался, и как бы он не утянул Степочкина с собой. А решения октябрьского Пленума окончательно убедили Василия Васильевича в необходимости менять хозяина. И он не замедлил перестроиться, перестал ходить

за советами к Пастухову, стал всюду — на бюро, на совещаниях — восхвалять Акимова, упоминать его имя к месту и не к месту, как руководителя, у которого есть чему поучиться.

Векшин ушел от Степочкина в тяжелом недоумении, так и не добившись того, зачем приходил.

2

На собрание явились все коммунисты колхоза, не пришла только Евдокия Ивановна Уфимцева, мать председателя — ей нездоровилось последнее время.

Когда Уфимцев вернулся с обеда, кабинет уже был заполнен людьми, рассевшимися на стульях, собранных со всей конторы. Он пристроился возле окна, рядом с Никитой Сафоновым, своим квартирохозяином. К Степочкину, сидевшему впереди, он не подошел, хотя тот и улыбнулся ему, кивнул головой.

Открыв собрание, Стенникова предложила почтить вставанием память Трофима Михайловича Позднина. Уфимцев, встав, окинул взглядом опущенные в скорби головы коммунистов и обнаружил среди них большинство седых или начинающих седеть.

И после, слушая доклад Стенниковой, его не покидала мысль о том, что их небольшая партийная организация состоит в основном из стариков и пожилых людей, а он, бывший партийный работник, забыл, что надо пополнять ряды партии за счет передовиков, особенно молодежи. Нет, он не против стариков, они свое дело знают, без их жизненного опыта

и умения он вряд ли бы мог руководить колхозом.

И мысли о будущем, о кадрах колхоза, о молодежи, которая не хочет оставаться в селе, вновь овладели им...

Доклад Стенниковой продолжался недолго. Говорила она больше о делах хозяйственных, и это понятно: они больше всего интересовали коммунистов. Но когда заговорила о так называемом деле Уфимцева, он насторожился, не удержался, посмотрел на Степочкина, уткнувшегося в лежавшие перед ним бумаги. Стенникова рассказала коммунистам о «деле» в общих чертах, сказала, что обвинение председателя в аморальных проступках не подтвердилось, но он получил выговор за недисциплинированность.

Анна Ивановна не могла умолчать об отношениях двух коммунистов — председателя и его заместителя. Обвинив Векшина в неправильном понимании путей развития колхоза, она сказала:

— Недопустимо, чтобы коммунист, заместитель председателя правления, противопоставлял себя не только председателю, но и решениям правления и общих собраний колхозников. Мало того, в целях подрыва авторитета председателя, он пошел на недопустимые в нашем обществе меры: пытался дезинформировать колхозников о положении в колхозе, настраивать их против председателя, приписывать ему вымышленные проступки. Как выяснилось на бюро парткома, никто иной, как Векшин, с помощью Тетеркина и других лиц, недовольных новыми порядками

в колхозе. сфабриковали кляузу на Уфимцева, что он морально разложившийся человек. Кляуза привела к разладу в семье Уфимцева. К сожалению, их выдумку поддержал присутствующий сегодня на собрании товарищ Степочкин. Он отнесся с недоверием к нашей партийной организации, посчитал, что мы не смогли бы беспристрастно разобраться в делах и жизни своего коммуниста, вынес вопрос сразу на бюро парткома.

Уфимцев видел, как Степочкин, кисло улыбнувшись, помотал недовольно головой и что-то записал на листке. Молодец, Анна Ивановна! Пусть коммунистам колхоза будет известно, какого представителя им послал партком.

Когда доклад закончился, первым попросил слово Первушин.

— Я хотел бы внести предложение в порядке ведения собрания,— начал он.— В докладе много говорилось о Векшине, о его неприглядной роли в колхозе. Думаю, если собрание займется Векшиным и его делами, мы уйдем в сторону от главного, от того, что в первую очередь интересует нас всех: сегодняшние дела колхоза и его перспективы. Поэтому считал бы правильным выделить вопрос о Векшине в повестку дня следующего собрания.

Векшин рассерженно вскочил с места, крикнул Первушину — зло, захлебываясь словами:

— Рано еще тебе давать указания, поработай в колхозе с мое, может, тогда и заимеешь право... Посмотрим, что еще ЦК скажет на

письмо, дождемся ответа, вот тогда и узнаем, кто клеветник и подстрекатель, а кто за правду борется, интересы колхозников защищает.

Векшин победно посмотрел по сторонам и сел. Первушин улыбнулся его горячности и сказал:

— Ну что же, если есть такое письмо, давайте дождемся ответа, обсудим письмо и одновременно поведение Векшина. А сегодня — займемся более нужными делами.

— Правильно,— поддержала тетя Соня.— Ставьте на голосование.

Проголосовали, собрание согласилось с предложением Первушина.

— А теперь разрешите сказать по существу отчетного доклада.

И Первушин, покритиковав прежнюю практику работы в животноводстве колхоза, сел на своего любимого конька — внедрение племенного скота на фермы, прочел об этом чуть не целую лекцию. Уфимцев слушал его и думал, как еще много предстоит сделать им,— они только начали, чуть тронулись с места, и впереди необъятное поле дел и забот.

За Первушиным слово взял тракторист Никита Сафонов, потом тетя Соня, Ерыкалов из Шалашей, шофер Лапшин, плотник Василий Степанович Микешин — и все они, критикуя недостатки, говорили о будущем: коммунисты увидели перспективу колхоза.

Последним слово взял Степочкин. Он долго и монотонно читал свою речь, написанную на десятке страниц, составленную из передовиц «Правды» и газетных статей по итогам

октябрьского Пленума, бичевал недостатки, отмеченные центральной печатью. Лишь под конец, отвлекшись от текста, сказал:

— Тут правильно меня критиковали в докладе. Да, я виноват перед коммунистами, доверился Векшину, не допустил у вас разбора дела Уфимцева, и партком меня в этом поправил. И со своей стороны считаю, коммунисты правильно решили: обсудить надо Векшина, ударить по рукам клеветника, чтобы неповадно было ему в другой раз заниматься такими грязными делами!

Уфимцев, услышав такое от Степочкина, даже растерялся в первое время. Он знал его как человека льстивого и угодливого перед начальством, грубого и формалиста с подчиненными, и предполагал, что он и сегодня обрушится на него и на Стенникову, будет защищать Векшина, но такого резкого поворота не ожидал. А когда подумал, вник в суть его поведения, чуть не расхохотался: да это тот же Степочкин, только в другой, камуфляжной форме: Векшин засыпался, стал бесполезен, значит, вали его, топи глубже, чтобы самому выйти сухим из воды.

А Векшин, услышав эти слова, теперь уже окончательно убедился — на Степочкина больше рассчитывать нельзя. Он просто не догадывался, что Степочкин поступил с ним почти так же, как он с Тетеркиным. «Надо бежать, пока не поздно... Удирать из колхоза»,— решение само пришло к нему. И реплика Первушину о письме в Москву была лишь озлобленной реакцией на предложение завести на него дело — теперь он и сам плохо верил, по-

может ли оно ему после бюро парткома и после сегодняшнего собрания...

Секретарем вновь избрали Стенникову.

3

Вот и пришли праздничные дни ноября.

Три дня не утихали в селе песни, три дня ревели гармони, шныряли со двора во двор проворные бабы, ходили по улицам толпами мужики, обнимались с подгулявшими, зарозовевшими женами, а то становились в круг и — подсвистывая, подухивая — пускались в пляс. Метелью летел снег из-под сапог и ботинок, визжали легкие на голос бабы, крутились волчками, раздували юбки.

И с утра до вечера плавал дым над Большими Полянами, сладко несло из открытых форточек курниками, горячими пельменями, сладкими пирогами с черемухой и калиной. Но если войти в дом, можно легко уловить, как к этим запахам примешивается, щекочет в носу, вызывая аппетит, дурманящий аромат соленых груздей, вынутых из подпола, где они томились в кадке под камнем, переложенные для крепости дубовым листом, для запаха — листом смородины, и для остроты — хреном. Возьмешь в рот такой груздь и не сразу поймешь, что там у тебя: не то снег, не то огонь, а может, то и другое вместе, перемешались и тают, полыхают во рту. И кажется тебе, что ты в лесу, забрался в тень под вековую сосну, привалился спиной к теплому стволу и дышишь не надышишься ароматами разнотравья, подставляешь разгоряченное ли-

що холодку вдруг откуда-то дунувшего ветерка...

Праздник нынче справляли не в пример другим годам: широко и громко. Причины тому были: со всеми работами управились вовремя, можно и отдохнуть, наверстать за те летние и осенние тугие деньки, когда нет ни выходных, ни праздничных. К тому же правление не поскупилось на деньги, выдали к празднику хорошо, так еще никогда не выдавали, хватит и погулять и на нужду отложить.

Накануне праздника, после торжественного собрания в клубе, Уфимцев сходил в баню, напарился до немоты, потом, разомлевший от пара, от горячей воды лег спать и спал мертво, без снов, как не спал уже давно — от него тоже отхлынули заботы, стало бездумно и легко, словно в бане он смыл с себя все, что жило и копилось в нем эти дни.

Он, наверное, проспал бы до обеда, но Никита разбудил его завтракать,— жена приготовила пирог с мясом. Побрившись, одев свежую рубашку, он вышел к столу, где дожидались его Никита с женой и дочерью, приехавшей из Репьевки. В комнате было празднично, и за столом тоже. И Никита, и хозяйка, и дочь их Нина так и светились счастьем, оно полыхало в их глазах, в улыбках, в жестах.

Выпив рюмку водки — от другой он отказался — поев пирога и поблагодарив хозяев, Уфимцев ушел к себе — вдруг стало невтерпежь от вида праздничного стола, от чужого счастья. Показалось, что он, как нищий, живет подаяниями, питается крохами чужой радости, не имея своей.

Он долго сидел у окна, глядел на заснеженный двор, предаваясь нерадостным мыслям. Потом включил радио и только прислушался к началу парада на Красной площади, как увидел в окно своих детей, входивших во двор, и опрометью выскочил на крыльцо.

— Папа, с праздником! — крикнул Игорек.— А нам вот что в школе дали,— и он высоко поднял кулек со сладостями.

Уфимцев поцеловал его, поцеловал Маринку, повел к себе,— оказалось, дети шли со школьного утренника.

— Вот и гости к тебе, Егор Арсентьевич, пожаловали,— обрадованно пропела хозяйка, когда он вошел с детьми в дом.— Давай, угощай.

Дети разделись, прошли в его комнату, хозяйка принесла им чаю, по куску пирога. Он сидел и с давно не испытываемым чувством ликования в душе глядел, как проворно уплетал пирог Игорь, как аккуратно, наклонившись над столом, пила маленькими глоточками чай Марина. Вот чего ему недоставало сегодня! И пусть бы так было дальше, больше ему ничего и не надо.

— Спасибо, что пришли, а то я тут совсем расклеился,— признался он детям, посмеиваясь над своими страхами, над праздничной тоской.

— Нам мама наказала к тебе зайти,— сказал Игорь.— Говорит, поздравьте отца.

— Мама?!

Он оторопел, растерялся, встал, заходил по комнате. Увидев обеспокоенный взгляд Маринки, сел, придвинул детям конфеты, чуть

присохшее пирожное, которое купил позавчера в Колташах.

— Не хочу,— сказал Игорь.— Пирога досыта наелся.

— Тогда возьмите с собой.

Он свернул из газеты кулек и, пока складывал в него пирожное и конфеты, не переставал думать о том, что Аня сама прислала детей поздравить отца с праздником. Но думать об этом было некогда — дети засобирались домой, и он полез в шкаф за подарками, которые приобрел для них,— специально для этого и ездил в Колташи.

Вначале вынул белую меховую шубку и подал Маринке. У той разгорелись глазенки, она сказала: «О!», положила кульки на стол, взяла шубку, накинула на себя. Потом вынул пальто с серым меховым воротником. Игорь сказал: «Это мне» и стал надевать.

Он видел, что Маринке шубка нравилась, она долго вертелась перед настольным зеркалом, вставая к нему то боком, то спиной, разглядывала себя через плечо, а потом, тяжело вздохнув, сняла шубку, подала отцу.

— Возьми. Мама не велела от тебя дорогих подарков принимать.

— От папки-то? — возмутился Игорь.— Ты что?!

— Она сказала, только конфеты да печенье.

Но тут Уфимцев не удивился, в этом была вся Аня: упрямая, независимая.

— Хорошо,— сказал он Маринке,— ты не принимай, ты унеси домой, а там — как мама

скажет. Может, ей тоже понравится. Тебе ведь понравилась?

Маринка печально кивнула, видимо, ей не очень хотелось расставаться с шубкой.

— А я не сниму, я в нем пойду,— сказал Игорь, застегивая пальто на все пуговицы.

— Правильно сделаешь. Ты же мужик самостоятельный. А Марина — она девочка.

Проводив детей, Уфимцев еще посидел в комнате, тоска вновь захлестнула его, но это была другая тоска — тоска одиночества, и он пошел к матери.

На улице еще мало бродило народа, одна молодежь да ребятишки с санками, облепившие Кривой увал. Пожилые люди пока сидели за столами, оглушая себя песнями, и он беспрепятственно дошел до дома матери. Пойди он чуть позже, и не дошел бы: не пустили бы колхозники председателя в такой день пройти мимо, затащили бы к себе.

У Максима готовились к праздничному обеду — пришел зять, Юрка Сараскин с Лидой, и появлению Егора обрадовались все, особенно жена брата Физа.

— Явился, задаваха. — Она ласково ткнула его в лоб, как телка.— И глаз не кажет, забыл, где живем.

— А мы за тобой посылать хотели,— весело крикнул Максим, крутясь на здоровой ноге вокруг стола, ища чем бы открыть бутылку с вином.— Да ребят унесло куда-то, не дозовешься.

Евдокия Ивановна, принарядившаяся по случаю праздника, сидела на широкой лавке, привалясь к простенку.

— Иди сюда, посиди с матерью, бездомник,— позвала она Уфимцева.

Он подошел к ней, обнял легонько — мать похудела после болезни, ключицы заметно выпирали из-под обвисшей кофты, и лицо побледнело, изрезалось новыми морщинками.

— Ну, как там у тебя? Когда помиритесь? — спросила она его тихонько, взяв за руку.

— Не знаю, мама. Ничего не знаю... И как дальше будет — не представляю совсем.

Он не мог позабыть, хранил в памяти, как встретила его в последний раз тетя Маша, как избегает его Аня, не желает встречаться. Тогда он поверил Анне Ивановне, что надо ждать и ждать, не предпринимать ничего. И он ждал терпеливо. А сегодня сама прислала детей поздравить его с праздником. Тут с ума можно сойти!

— Вчера она ко мне заходила, попроведала... Тяжело ей одной, Егор,— вздохнула мать.— Хоть она и не говорит, а я вижу, вижу. Вроде весело ей, смеется, а у самой в глазах слезы стоят. Ох, горе ты наше!

Евдокия Ивановна неожиданно всхлипнула, сморщив лицо, но взяла себя в руки, не дала волю слезам, вытерла глаза платочком.

— Рожать собирается к матери ехать. Говорит, до каникул как-нибудь протяну, а там поеду к маме. И ребят с собой берет.

Уфимцев не знал о намерении Ани поехать к матери. Правда, заведующий школой сообщил ему однажды по секрету, что Анна Аркадьевна согласилась работать только до зимних каникул, но это было давно, он тогда еще

надеялся, что все утрясется, они успеют помириться. А вот только что сказанные слова матери заставили задуматься.

— Вижу расстроила я тебя, испортила праздник... Очень-то не отчаивайся, вот я поправлюсь совсем, так поговорю с ней. Уговорим, куды ей от нас...

Уфимцев расстроганно опять обнял мать, поцеловал ей руку.

— Прошу всех за стол,— торжественным голосом пригласила Физа, появляясь с большим блюдом, на котором лежал, поблескивая румяной корочкой, рыбный пирог.

И комната сразу наполнилась таким ароматом, что Лидка, как девчонка, захлопала в ладоши, вперед всех полезла за стол, а Максим стал торопливо разливать в рюмки — мужчинам водку, а женщинам вино.

— Ты мне эту бурду не лей,— запротестовала Физа.— На работу — так ломи за мужика, а на гулянке — видишь ли, они бабы... Наливай водки!

— Ну и мама! — сказала Лидка под общий смех.

Все уселись за стол.

— За что выпьем? — спросила Физа, беря рюмку.

— Тост! Тост! Пусть Юра скажет тост,— потребовал Максим, расправляя усы, любуясь зятем.

Но Юрка застеснялся, покраснел, закашлялся в кулак — из него не скоро вытянешь слово. С Юркой можно по целым дням в молчанки играть: не спроси, не заговорит, весь в отца, в Архипа Ивановича.

— Давайте-ко выпьем за Советскую власть,— предложила Евдокия Ивановна.— Сегодня она народилась, ее светлый праздник. Пусть живет во веки веков!

Уфимцев наклонился к матери, прошептал ей в ухо: «Ура!» Все выпили и занялись пирогом.

Пирог был действительно вкусный, ели и нахваливали Физу. Особенно восторгался Максим, ел, причмокивая, облизывая усы.

— Ты смотри, не захвали,— говорила ему, смеясь, Физа.— А то загоржуся, выпрягусь, на сухарях насидишься.

Налили по второй.

— А теперь за что выпьем? — спросил Максим.

— За наших колхозников,— предложил Уфимцев.— За их любовь к труду, за любовь к нашему общему делу.

Выпили молча.

— Да, заинтересовался народ, хозяином себя почуял,— сказал Максим, беря на тарелку второй кусок пирога.

— А он всегда хозяином был,— ответила Евдокия Ивановна.— Когда недостатки — боролся, когда удачи — радовался, но во всех случаях себя хозяином чувствовал. Я вот сколько прожила, в колхозе двадцать лет проработала, а другого не замечала. Были среди нас и не хозяева, а работники, но они не надолго, не приживались...

Уфимцев ушел от брата навеселе в глубоких сумерках.

4

А на следующий день он с Первушиным поехал охотиться на зайцев.

Еще накануне праздника Первушин подбивал его съездить на охоту, не хотелось быть дома, подвергаться набегам родни, переживать из-за отказа идти в гости. Добившись согласия Уфимцева, он достал ему ружье и патроны.

И вот рано утром — еще не дымились печи, еще село отсыпалось после вчерашнего, готовило себя к новому дню,— дядя Павел запряг им Карька в легкие санки, и они, одевшись в полушубки, в валенки, нахлобучив поглубже шапки, поехали неторопкой рысью вверх по Санаре, где в тальниках водились зайчишки.

Пруд уже стал, покрылся льдом, его припорошило снегом, а выше пруда Санара чернильно поблескивала водой, билась в тесных заберегах. Они переехали ее по мелкому броду — вода чуть смочила копылья санок, и направились без дороги, нетоптанным снежком по сенокосным полянам в закуржавевшие кусты ивняка.

Солнце, подернутое какой-то мутью, словно туманом, только взошло и светило не ярко, но внизу по земле все хорошо и далеко просматривалось, лишь где-то ближе к горизонту висела невысоко серая пелена изморози, скрывала дали. Карько трусил не спеша, обходя кусты, всхрапывал при виде чернеющих промоин, косил глазом на молчавших седоков.

Но вот Первушин, встав в санках на колени, покрутил головой, поглядел по сторонам и повернул Карька к ближайшему стожку сена.

— Все, приехали,— сказал он Уфимцеву, вылезая из санок.— Самое заячье место.

Уфимцеву не хотелось вылезать, сидеть было тепло, удобно, а ехать — приятно, позывало на сон, на легкое бездумье. Но он пересилил себя, поднялся, потоптался немного, позавидовал Первушину, его проворству, с каким тот управлялся с лошадью, привязывал ее к перемету, накидывал попонку на потное тело. Потом, подойдя к санкам, вытащил из сумки белую простыню, ловко накинул на себя, подвязал, взял в руки ружье, по-солдатски попрыгал, чтобы узнать, не бренчит ли где.

— А ты чего? — напустился он на Уфимцева.— Так и будешь стоять? Бери ружье, иди вот этой стороной кустов, а я пойду левее метрах в ста от тебя. Во-он у того осокоря — видишь? — сойдемся... Да гляди в оба, не прозевай косого.

Уфимцев повесил ружье на плечо и пошел в ту сторону, куда показал Первушин. Идти по мелкому снегу было нетяжело, снег успокаивающе шелестел под валенками, поскрипывал, когда он переходил надувы. Кусты, обсыпанные куржаком, горели застывшим белым пламенем, и по всей пойме, из конца в конец, полыхал этот белый пожар. Но только стоило притронуться к кусту, как куржак осыпался, пламя гасло и куст беззащитно чернел будто и впрямь обгоревшими ветками.

Он шел не спеша, позабыв, зачем он тут, обходил кусты, старался к ним не притрагиваться, любовался их кружевной вязью. И прошел почти полкилометра, когда из-под ног выскочил белый, как кусок ваты, заяц и, прижав уши, заметался в испуге по сторонам — туда-сюда, туда-сюда, и вдруг, высоко подпрыгнув, ударился в бег по полянке к дальним кустам, взметая за собой снег.

Уфимцев застыл от неожиданности, следил широко раскрытыми в любопытстве глазами за мечущимся зайцем, позабыв о ружье. Вспомнил о нем, когда заяц, проскочив поляну, исчез в кустах. Он выругал себя за оплошность, снял ружье, вложил патрон и пошел дальше, держа ружье на весу.

Похоже, заяц сбил с него вялость и безразличие, он приободрился, напрягся весь и пошел сторожко, вглядываясь во все подозрительные места, где мог скрываться заяц. В нем неожиданно проснулся охотник, хотя никогда он им не был, даже ружья не имел. Правда, во время войны, в ее последнюю зиму, они с Сенькой Красильниковым пытались ловить зайцев петлями. Нет, зайцев ловил дед Калина, сосед Красильниковых — высокий, неразговорчивый старик, с мохнатыми седыми бровями и такой же бородой. Он ставил за Санарой в кустах на заячьих тропках проволочные петли, ходил каждый день проверять их. Зайцев к концу войны расплодилось множество, и дед Калина приносил домой каждый раз одного-двух. А в те зимние дни было голодно, мясо на столах колхозников появлялось редко, в некоторых семьях уже

забыли, какое оно на вкус. Дед Калина сам зайчатину не ел, брезговал, а семья ела, сыта была. Вот ребята, по примеру деда Калины, и решили начать ловить зайцев.

Для начала они пошли посмотреть, как дед ставит петли. Ничего мудреного в этом не нашли, но в одной петле обнаружили зайца. Не сговариваясь, лишь переглянувшись, они вынули его из петли, Сенька завернул зайца в ватник и бегом, задами села, прибежали к Красильниковым во двор, забрались в баню, сняли с зайца шкурку — шкурку закопали в снег, а мясо поделили. И с того дня пошло: рано-рано, еще в сумерках, они бежали за Сарару, разыскивали первого попавшегося в петлю зайца и несли домой, потом завтракали и шли в школу. Больше одного зайца они не брали, все-таки совесть у ребят была, да и ходили не каждый день. Зато теперь в доме Уфимцевых ели мясо, Физа искусно тушила зайца с картошкой, предварительно нашпиговав его чесноком. Евдокия Ивановна, увидев в первый раз на столе мясо, спросила Физу, откуда оно. «Охотник у нас появился,— глядя весело в смущенное лицо Егора, ответила Физа.— Петли ставит». И все обошлось бы, но дед Калина пронюхал как-то о проделках ребят: не то сам обнаружил детские следы на снегу и сбитые петли, не то кто сказал ему, что видел мальчишек, тащивших зайца, он пошел с жалобой к Евдокии Ивановне. Вот на этом и кончилась их охота.

Вспоминая с улыбкой об этом, Уфимцев не забывал поглядывать по сторонам и ждать, не выскочит ли опять заяц, чтобы тут же

вскинуть ружье и выпалить по нему. Но сколько ни шел, зайцы будто вымерли, он видел лишь их следы.

Вдруг кто-то тихо и предупреждающе посвистел. Уфимцев остановился, замер. Свистеть мог только Первушин, свистел он тоненько, с перерывами, как свистят обычно лошадям на водопое. Уфимцев догадался, Первушин предупреждал о зайце, побежавшем в его сторону. Он подошел к березке, заросшей шиповником, присел подле нее, выставив ствол в сторону, откуда шел свист.

Ждать пришлось недолго: из-за куста, чуть правее, куда смотрел Уфимцев, вдруг показался заяц. Как-то чересчур спокойно, даже лениво он прыгнул раза два и остановился, встал на задние лапки, прислушался, навострив уши, и, постояв, спокойно опустился на снег. Уфимцев взвел курок, подвел мушку к зайцу, поглядел вдоль ствола. Заяц был такой же белый, как и первый, и если бы не черные кончики ушей, которые непрестанно двигались, его трудно было бы заметить, различить на снегу. Уже давно пора опуститься курку, грянуть выстрелу, а Уфимцев медлил стрелять в зайца, который то ли грыз что, то ли облизывался — голова его покачивалась, а вместе с нею качались и уши. Но вот он положил уши на спину, подобрался весь и замер, успокоился. И Уфимцеву расхотелось стрелять, показалось кощунственным губить беззащитного зверя — добро бы сейчас голодно было, как в войну.

И он, опустив курок ружья, встал, не таясь, во весь рост, заяц прыгнул как-то боком

и исчез за тем же кустом, откуда появился. Уфимцев с облегчением вздохнул, вскинул ружье за плечо и пошел к осокорю, к месту встречи с Первушиным.

Но не успел пройти и двадцати шагов, как остановился, оглушенный выстрелом. Выстрел был настолько громкий, что задымились кусты — с них с легким шелестом посыпался куржак. «Это Олег... моего зайца»,— с тревогой подумал Уфимцев и пошел в сторону выстрела.

Первушина он увидел вскоре. Тот стоял к нему спиной и увязывал зайца; рядом торчало ружье, воткнутое в снег.

Повернувшись на шум шагов, Первушин поднял зайца за задние лапы, показал Уфимцеву:

— Видал, какого матерого уложил?

Уфимцев подошел, посмотрел внимательно на трофей. Кончики ушей так же чернели, как и у того, которого он отпустил жить. Сердце его сжалось от жалости и боли,— почему-то уверовал, Первушин убил его зайца.

— Ну как, нравится? Хорош стервец! — радовался Первушин.— А ты что? Так и не встретил ни одного?

— Нет, не встретил,— не признался Уфимцев. У него пропал интерес к охоте.— Поедем домой.

— Что так? — удивился Первушин.— Без зайца? Явишься домой без зайца? Куры смеяться будут.

Но посмотрев на скисшего, чем-то недовольного Уфимцева, закинул зайца за спину и сказал:

— Ну что же, домой так домой.

Ехали молча. Первушин правил, сняв рукавицы, курил. Он был доволен и охотой, и погодой, и весело бежавшим к дому Карьком. Только вид Уфимцева, свернувшегося в санках, закрывшего глаза, смущал его. Он не понимал, что с ним, всегда таким жизнерадостным, энергичным. Подумал, не в тоске ли по семье тут дело? Праздник, все с семьями, а он один.

— Послушай, Георгий Арсентьевич, не обидишься, если я у тебя кое-что спрошу?

Уфимцев открыл глаза, посмотрел, щурясь, на Первушина.

— Спрашивай.

— Как у тебя с Анной Аркадьевной? Люди разное болтают, хотел от тебя самого узнать.

Уфимцев выпрямился, долго не отвечал, смотрел вдоль санного следа, пропадающего в кустах.

— Не знаю, Олег Степанович, ничего не знаю, сам пока не разберусь,— ответил он глухо,— не хочет она видеть меня. Люди оправдали, а она — нет.

— Так иди к ней, доказывай, добивайся...

— Все было. И Акимов с ней говорил, и Стенникова... Передавали, уезжать собирается.

— Уезжать? — переспросил Первушин.— А не болтовня это? Может, и не думает об отъезде?

— Не болтовня... Матери моей сама говорила.

— Да, это уже хуже... А как ты? Что думаешь предпринять, если и вправду уедет?

Вот это и мучило Уфимцева после того, как он услышал от матери о предстоящем отъезде Ани. До тех пор, пока она тут, еще есть надежда помириться, но если уедет, обратно в Большие Поляны не вернется,— он знал, как велико в ней чувство самолюбия, непокорности, не раз испытывал на себе. И потом, чтобы наладить отношения, завоевать ее расположение, надо будет бросать колхоз, ехать за ней в город.

— Попытаюсь еще поговорить с ней. Но если все же не поймет меня, уедет... Тяжело мне будет тогда, Олег Степанович, откровенно признаюсь, люблю я Аню... Но колхоз я не брошу, останусь здесь. Я знаю, кое-кто рад был бы моему бегству из колхоза, но я докажу им, что коммунисты не пятятся, доводят дело до конца.

Первушин с нескрываемым любопытством смотрел на Уфимцева, слушал его взволнованный, чуть приглушенный голос.

Впереди меж кустов показалась Санара.

5

День был сырой, слякотный, ветер с юга принес оттепель, и снег мокро осел, засинел густо. С низкого, заволоченного неба сыпалась крупка, ветер бил порывами, крупка резала лицо, и Груня закрывалась рукой в варежке, отвертывалась от ветра.

Шла она с дневной дойки тропкой, проложенной на задах села, за огородами. Тропка лилово блестела, снег под ногами оседал, по-

хрустывал, ветер метал галок, сорвавшихся с потемневших деревьев, перевертывал, прижимал к земле, и они истошно кричали, паруся крыльями. Над птицефермой кружились вспугнутые кем-то голуби — голуби казались черными, летали они неторопливо и высоко, где-то выше ветра.

За мастерской враз ободняло, перестала сыпаться крупка, тропка выбелилась, и Груня пошла живее, размашистее. Весь день ей сегодня было почему-то беспокойно, может, повлияла погода — ветреная, промозглая, но жила она в каком-то странном ожидании, казалось, вот-вот должно случиться что-то такое, что изменит ее судьбу, войдет в ее жизнь, как входят в новый дом, и жизнь начнется с начала, словно ничего до этого не было.

И поднимаясь утром с постели, и собираясь на работу, и после, доя коров, разговаривая с товарками, перебирая с ними сельские новости, ее не покидало это чувство ожидания, хотя ожидать было нечего, теперь у нее все в прошлом — и тоска о счастье, и неудачное замужество.

Смерть отца на какое-то время заглушила личную боль, отодвинула в сторону. Отца она любила и дорожила этой любовью. Он был как бы тайной опорой в жизни, понимал ее без слов и объяснений. И смерть его сломила ее, она окаменела, ходила как потерянная первые дни — без слез, без мыслей, не замечая безутешно плачущей матери. Когда горе улеглось, в душе осталась одна пустота да необъяснимая тоска по чему-то безвозвратно ушедшему.

И вот сегодня эта тоска сменилась ожиданием чего-то, а чего — она не представляла, и это ожидание скребло и скребло душу, рвало сердце.

Она никогда не думала о Васькове, для нее он больше не существовал. Слышала, что, отсидев пятнадцать суток, он перевелся в другой сельсовет, забрал с собой мать, сдал в аренду кому-то дом и уехал — куда, ее не интересовало.

Придя домой, она пообедала, потом, уложив в постель дочку, сама прилегла к ней и незаметно для себя уснула. И во сне увидела, будто идет с Егором по широкому лугу, луг весь в цветах — синих, желтых, красных, а вокруг летают ярко-желтые шмели, большеглазые стеклянные стрекозы, в траве звонко свиристят на все лады кузнечики. И на душе у нее так радостно, так весело от всего, что она видит и слышит, что не может сдержать себя, прыгает, как девчонка, бегает от цветка к цветку, срывает их, подает с улыбкой Егору. А Егор идет молча, хмурится, вроде не радует его это солнечное утро, эти прелестные цветы, он принимает их от Груни, но тут же роняет, топчет своими кирзовыми сапогами. Груня смеется, тормошит его, показывает на цветы, оброненные им, которые длинной дорожкой расстилались сзади, а он не слышит ее, идет, не оборачиваясь.

Проснулась она неожиданно: словно кто толкнул ее — и она проснулась, испуганно затаилась, не открывая глаз, подождала нового толчка, но все было тихо, и в доме тихо, никто не ходил, не разговаривал. Она подня-

лась, села на постели, посидела, как очумелая, в глазах ее все еще стояли цветы, и Егор — большой, увалистый, медленно бредущий по лугу, топчущий ее цветы. «Господи, что это? К чему? — шептала она.— Цветы... Егор... сапоги... А-а!» Она с трудом сдержала в себе крик, обхватила руками голову, покачалась из стороны в сторону, встала, подошла к окну, ткнулась лбом в холодное стекло. На дворе сумрачно, как и на душе, с подтаявших крыш падала капель, частая, как слезы, выжигала на снегу глубокие борозды.

Она и так, без этого глупого сна, знала, что Егор растоптал ее любовь, как сегодня топтал цветы. Он, и только он, стал причиной всех ее несчастий. Но разве он не наказан за это? Разве судьба не отомстила ему за ее разбитую жизнь? Она не хотела такой мести, хотя невольно стала виновницей его разлада с женой. Она давно поняла, что Егор для нее потерянный человек, потерянный навсегда. Нет, она далека была от мысли мстить Егору, она и сейчас любит его и хочет пронести эту любовь чистой, незапятнанной подлостью через свою жизнь.

Она стояла и думала, думала о себе, о Егоре, их такой общей и, вместе с тем, такой разной судьбе, в которую надо, наконец, внести ясность.

Так вот какое ожидание томило ее сегодня: она ждала решения от себя самой!

Решение пришло сразу, хотя никогда раньше не думала об этом.

Она оторвалась от окна, посмотрела на спящую, разметавшуюся по постели дочь, вы-

глянула в переднюю — там никого не было, надела сапоги, пальто, повязалась шалью и вышла на кырльцо, прислушалась — мать возилась со скотиной. Она не стала ее окликать, осторожно открыла калитку и пошла вниз по селу.

Наверное, от вида тихой предвечерней улицы, а может, от принятого решения, чувствовала она себя легко, сердце не стучало, как давеча, когда она проснулась, и сама она, утвердившись в необходимости такого поступка, шла спокойно, как ходила каждый день на работу.

В окнах дома тети Маши горел свет, калитка была не заперта, и она, поднявшись на крыльцо, прошла через сени, вошла в дом. Тетя Маша подмывала на кухне и, услышав стук дверью, обернулась, увидела вошедшую Груню и остолбенела. Груня поздоровалась с ней, прошла дальше, а она так и осталась стоять с открытым от изумления ртом, с мокрой тряпкой в руках, с которой грязная вода капала ей на подол юбки.

Дойдя до горницы, Груня постучала в дверь и, услышав: «Да, да!» — вошла.

Аня была одна, сидела за столом, правила школьные тетради. На ней широкий, малинового цвета халат, с белыми и зелеными цветами, волосы на голове гладко зачесаны, заплетены в две нетолстые косички. От ее располневшей, чересчур домашней фигуры в этой тихой комнате с полумраком от настольной лампы веяло устоявшимся теплом и спокойствием.

Увидев Груню, Аня переменилась в лице, побледнела, медленно поднялась со стула, в

каком-то немом оцепенении, механически, не глядя, отодвинула от края стола тетради, словно защищала их от непрошеной гостьи.

— Извините, что без приглашения,— проговорила Груня каким-то чужим голосом, закрывая и приваливаясь к ней спиной, словно была не в силах стоять.— Пришла вот... поговорить. Не прогоните?

Аня уже оправилась от испуга, вызванного неожиданным вторжением того, кого она меньше всего ожидала видеть, лицо ее стало покрываться бурыми пятнами, глаза сузились, губы покривились, задрожали.

— Чего вам здесь надо? — гневно спросила она.

— Не обижайтесь, ради бога,— торопливо проговорила Груня и подалась вперед, отошла от двери.— Ничего дурного у меня на уме нет, я к вам с чистой душой.

Аня посмотрела на нее долгим пронзительным взглядом — злость, презрение стояли в ее глазах. Казалось, она вот-вот крикнет срывающимся, полным обиды голосом: «Вон отсюда!» Но этого не случилось — вдруг ослабли, дрогнули ее веки, она отвела глаза, сказала, с трудом выговаривая слова:

— Садитесь, раз пришли.

Груня взяла стул, села вблизи двери, расстегнула пальто на груди — в комнате было жарко, ослабила шаль, высвободила лицо. Аня зашла за стол, но не села, осталась стоять, и оттуда смотрела на свою соперницу, соблазнившую ее мужа. Она и раньше видела Груню, но вот так, вблизи — первый раз. Крупный лоб, серые глаза, румяные полные

щеки, мягкий подбородок с ямочкой посредине, влажные, чуть оттопыренные губы — все это, по мнению Ани, было некрасиво, грубо. «Однако мужчинам такие нравятся. Понравилась же она Егору!» — подумала Аня и вновь озлилась — на себя, что позволила ей остаться, на нее, по воле которой она живет безмужней, опозоренной. «Пришла, сидит... Бесстыжая баба!»

— Так что вам еще надо от меня? — не спросила, а почти выкрикнула Аня, опускаясь на стул.

— Не кричите,— отозвалась Груня,— давайте поговорим мирно. Мне от вас ничего не надо, я не за этим пришла... Мне Егора Арсентьевича жаль, ни за что вы его обидели.

— А это не ваше дело разбираться, кто кого обидел: он меня или я его.

— Как не мое? — удивилась Груня.— Мое это дело... Я виновата перед вами, мне и каяться, и ответ держать. А Егор тут ни причем, он не виноватый.

Аня слушала ее и удивлялась этой женщине, так легко признавшейся в своей вине, но почему-то выгораживающей Егора.

— Что еще скажете? — спросила она, тяготясь разговором, желая закончить его поскорее.

— Я к вам зачем пришла,— начала Груня.— Хотела сказать, ничего у нас с Егором не было...

Аня не дала ей договорить:

— Меня не интересуют ваши отношения с моим бывшим мужем. Рассказывайте это ко-

му-нибудь другому, не мне. Например, своим подружкам... таким же, как и вы.

— Какая вы, право...

Груня отвернулась от нее в недоумении. Она шла сюда с самыми хорошими намерениями, надеясь, что жена Егора поймет ее, поймет, что зря выгнала мужа, лишила детей отца, что он человек честный, достойный ее.

— Не было же никаких отношений,— сказала Груня с горечью и посмотрела на поморщившуюся при этих словах Аню.— Дружили мы с ним, когда молодыми были, вот и... приплели, что не надо. Видели меня один раз с ним, у людей язык не привязан.

— А встречи? Поцелуи? — напомнила Аня,— Скажете, тоже ничего не было?

— Я виновата! Я! — не удержалась, крикнула Груня.— Это я за ним бегала, вешалась на шею, а он не хотел — понимаете? Не хотел этого, избегал меня... Вас он любит, сам говорил.

— Не верю я вашим словам, не верю этому ничему. Если бы меня любил, не встречался бы по ночам с другой.

Голос у Ани задрожал, она отвернулась, чтобы не показать сопернице своей слабости, но оправилась, взяла себя в руки, глубоко вздохнув, набрала в грудь воздуха, посидела так.

— Поймите, дети у него... трое будет.— Она повернулась в гневе к Груне и закричала, не в силах больше сдерживаться: — Как вам не стыдно! Бегать за женатым человеком, отбивать от семьи, это... это подло, ни с чем не совместимо!

Аня встала — губы ее скривились, на глазах блестели слезы, она подошла к комоду, взяла из ящика платок, вытерла им глаза, щеки, снова села.

Груня молча наблюдала за ней. Она совсем не рассчитывала, что разговор будет таким, вернее, никакого разговора не получилось, перед ней сидела обиженная, издерганная несчастьем женщина, которая уже не в силах управлять своими нервами. И ей стало жалко ее.

— Пусть я подлая, пусть. Можете меня оскорблять, можете презирать — дело ваше, может, я этого и заслуживаю. Но я не оправдываться к вам пришла, а просить за человека, который мне тоже дорог,— мне нечего скрывать это от вас.

Что-то вроде любопытства мелькнуло в глазах Ани, она скривила в усмешке губы, но усмешка была нарочитой, деланной, на самом деле, услышав последние слова Груни, ей захотелось узнать, зачем же пришла эта женщина.

— Ну говорите, слушаю.

— Не виноват Егор перед вами, чистосердечно говорю, как на духу. Я за ним гонялась, вспомнила прежнее, хотела вернуть, а он — нет... Чего мне скрываться от вас: любила я его, да мало ли кто кого любит, если нет взаимности. Так что вы напрасно обидели его. Страдает он без вас и без детей... А насчет поцелуя — это я его поцеловала, я, а не он меня. На прощанье... в последний раз. Понимаете? Вот как покойников целуют, прощаются навсегда.

Аня долго и молча смотрела на Груню, на ее раскрасневшееся лицо со сдвинутой на затылок шалью, открывшей белый лоб с нависшим над ним клочком спутанных волос.

— Что-то очень уж просто и легко у вас все объясняется... Плохо верится,— наконец сказала она.

— Не верите? — удивилась Груня и даже чуть растерялась, посидела в каком-то замешательстве.— Значит, не верите?

Аня отрицательно покачала головой, Груня не торопясь встала, поправила шаль, застегнула пальто. Лицо у нее было суровое, решительное.

— Ничего, поверите... Прощайте.

Открыв дверь, она увидела тетю Машу. Та сидела у стола спиной к ней и даже не пошевелилась, когда она вышла и прошла подле нее.

Груня грустно усмехнулась и ушла.

Через день из ворот усадьбы Позднина выехала подвода. В кошевке, набитой сеном, сидела в тулупе Груня с девочкой, рядом мостились чемодан и большой узел. Заплаканная Агафья Петровна, в старенькой шубенке, в темном платке, долго стояла у ворот, провожая взглядом подводу, хотя видела только спину подводчика — местного лесника, взявшегося довести Груню до станции.

Выехав на плотину, Груня не утерпела, взглянула в последний раз на родное село. Оно лежало за широким прудом и казалось совсем маленьким, прилепившимся к увалу, с заснеженными крышами, с голыми, мерзнущими на ветру деревьями в садках, но для

нее не было на свете другого такого места, милее этого: здесь она прожила всю жизнь безвыездно, здесь помнила себя девчонкой и после — взрослой женщиной, здесь узнала любовь, принесшую ей столько радостей, а еще больше горя, и от которой она бежит сейчас — бежит, не зная куда.

Глаза ее затуманились от слез, она отвернулась, вытерла их ладошкой, крепче прижала к груди девочку...

Уфимцев узнал об отъезде Груни в тот же день. Шло заседание правления, и кто-то из присутствующих сказал, что вот теряем кадры: Васькова совсем выехала из колхоза, а была первой дояркой. Посыпались вопросы: как, да почему, да куда, но Уфимцев уже их не слышал. Что-то накатило на него, он сидел и бессмысленно смотрел на жестикулирующих правленцев, не зная, радоваться ее отъезду или огорчаться. Умом он понимал, что надо радоваться, это приблизит час примирения с Аней, а сердце сокрушалось от жалости к Груне, к ее незадачливой судьбе, в которой он все же был виноват.

Ему вдруг вспомнилось, что в тот год, когда он вернулся из армии, во дворе Позднина под навесом стоял плетеный из ивы короб, набитый сеном. Груня спала в этом коробе, и он, крадучись, проникал во двор, забирался к ней под тулуп. Стояла осень, ночи были холодными, и Уфимцев сейчас всем телом ощутил, как тепло было тогда под тяжелым тулупом... Да, она любила его бездумно, беззаветно, не считаясь с последствиями. И сейчас — он в этом нисколько не сомневал-

ся,— она пожертвовала собой ради его счастья, чтобы облегчить ему возвращение к семье.

Он посидел так, отдаваясь пришедшим не ко времени воспоминаниям, но пересилил себя, тряхнул головой, чтобы отогнать ненужные мысли, и постучал карандашом по графину, наводя порядок среди собравшихся в кабинете людей.

6

Приход Груни был не просто неожиданностью для Ани. Она не допускала и мысли, чтобы ее соперница, ставшая причиной разрыва с мужем, могла вот так, без всякого стыда и стеснения прийти, усесться на стул, выкатить наглые глаза и повести разговор с ней, как со своей товаркой. Мало того, стала просить за Егора, обелять его, перекладывать вину на себя.

В первые минуты Ане хотелось позвать тетю Машу и вытолкать взашей эту непрошеную гостью. Но что-то удержало ее от этого, может, желание узнать, что привело соперницу к ней, а может, просто женское любопытство, посмотреть на соблазнительницу мужа, поискать в ней то, что привлекло Егора, сравнить с собой.

Но сколько она ни вглядывалась, сколько ни слушала свою «гостью», видела в ней лишь нахальную бабу, может, нарочито подосланную самим же Егором, с целью выгородить его.

Но несмотря на всю предвзятость отношения к Груне, Аня все же не могла не заметить в словах этой бабы что-то такое, гранича-

щее с искренностью и даже доброжелательностью к ней. Это заставляло против воли слушать свою соперницу, спорить и даже поплакать от сознания обиды, нанесенной Егором. Под конец разговора Аня уже не могла отделаться от впечатления, что соперница не такая уж простая и наглая баба, как ей показалось в начале их встречи.

После ухода Груни Аня осталась в какой-то неопределенности, не зная, как дальше относиться к ней, как понять ее слова: «Ничего, поверите». Ей хотелось верить, но... как и чему? И можно ли кому-то верить, если даже любимый человек, муж, отец ее детей, мог так легко солгать, обмануть?

Разве это первая попытка уговорить ее помириться с Егором? Приходил Акимов — это было еще в первые дни их разрыва с мужем, пытался убеждать, запугивать неприятностями, грозящими Егору, но слишком свежи были в памяти письма Васькова, мужа этой женщины, слишком свежи признания Егора о встречах с ней, чтобы Аня могла уступить просьбам Акимова. К тому же она не верила в искренность признаний Егора, что все у него с этой женщиной ограничилось поцелуями. Она не могла без дрожи, без отвращения представить себе картину любовных похождений мужа, представить, как он целовал эту женщину, как он... Дальше она не выдерживала и каждый раз, когда думала об этом, непроизвольно стискивала зубы, стонала от горя, как может стонать оскорбленный человек, бессильный отплатить обидчику тем же. И потом металась по комнате, не находя

себе места, и лишь слезы приносили ей временное облегчение.

Она любила Егора, любила и сейчас, несмотря на его вероломство. Она с трудом переносила отсутствие мужа, но ничего с собой поделать не могла: обида, причиненная ей, была так жестока и ранима, что она не могла смириться, не могла простить. Разве она не проявляла любви и нежности к Егору, разве не жила его заботами, не делила с ним все радости и горести, разве не была верной женой, чтобы он мог так грубо, бессовестно обмануть ее, завести шашни с другой женщиной?.. Она тайно мучилась, терзалась ревностью, но другим не показывала своих страданий, вела себя на людях ровно, спокойно, как будто ничего особенного не произошло в ее жизни.

Анна Ивановна Стенникова тоже убеждала ее помириться с Егором, говорила, что все это сплетня, придуманная недругами Егора, и что партком уже разобрался, не нашел за ним вины. Но ведь она-то не партком, а жена, и хорошо знает, что это не сплетня,— Егор сам признался ей в своих встречах с этой женщиной. Ане и раньше говорили, что Груня — первая любовь Егора, а первая любовь, говорят, не забывается. И вот достаточно было ей отлучиться из дому, оставить Егора одного, как эта любовь возобновилась...

А теперь эта женщина приходит и говорит, будто ничего между нею и Егором не было, кроме поцелуя, но и в этом виновата она, а не он.

Ане хочется верить ей. В самом деле, какой смысл этой женщине оправдывать Егора

перед женой? С мужем она разошлась и, кажется, по логике вещей, если сама рассчитывает на Егора, должна добиваться большего разобщения мужа с женой, чтобы самой завладеть им, а она поступает наоборот: утверждает, что Егор любит жену, а не ее, и что Аня напрасно обвиняет его в грехах, которых он не совершал.

Ане хочется верить ей. Она понимает, дальше так продолжаться не может, надо развязывать тот узелок их ссоры, который она завязала,— все же двое детей, скоро будет третий. А сердце противилось, оно ожесточено и никак не может простить даже того, в чем признался ей сам Егор. «Что же делать? Как жить дальше?» — думала она, сидела неподвижно в той позе, в какой ее оставила Груня.

Вот уже скоро три месяца, как она без Егора. Время его проступка отодвигается все дальше и дальше, хотя не становится от этого безобидней. И приближается другое время, страшное и радостное, когда ей предстоит подарить миру нового человека — он уже бьется в ней, стучит ножками в глухие бессонные ночи.

7

Тетя Маша не на шутку перепугалась Груни. Она бросила мыть кухню, подошла к двери горницы, присела у стола, чтобы быть поблизости, если позовет Аня,— кто его знает, с какой целью пришла эта разлучница.

В горнице шел негромкий разговор — о чем, она не могла разобрать. Иногда тон раз-

говора повышался, тетя Маша настораживалась, но все обходилось, и она успокаивалась.

Когда Груня ушла, она подождала, пока не брякнула за нею щеколда в сенях, потом домыла на кухне и открыла дверь в горницу. Аня сидела, задумавшись, по лицу ее бродила едва заметная растерянность.

— Зачем приходила эта вертихвостка? — хрипло спросила тетя Маша.

Аня встала, поправила на себе халат, подошла к зеркалу, посмотрелась, пригладила волосы рукой и села за стол, придвинула тетради.

— Успокойся, тетя Маша, — сказала она.— Иди отдыхай... Все хорошо, все хорошо.

Тетя Маша в сердцах захлопнула дверь, пошла на кухню. «Тоже мне... И говорить не хочет. Все таится, таится... А вот расскажу тебе про Дашку да про Егора, вот и будет тогда «хорошо-хорошо»,— передразнила она Аню.

Но рассказывать об этом она не собиралась, хотела сначала сама разузнать, удостовериться в словах Векшина.

Она не успела как следует рассердить себя, разозлиться на Аню, как стукнула калитка, послышался громкий голос Игоря,— дети вернулись с детского сеанса кино, и тетя Маша заторопилась ставить самовар, готовиться к ужину.

За время совместной жизни она очень привязалась к Ане, к ребятишкам и переживала не меньше, чем сама Аня, все невзгоды ее несчастной жизни. И не без основания считала, что всему делу виновница Груня Вась-

кова, не могла спокойно ни видеть ее, ни слышать о ней.

И узнав вскоре, что Васькова уехала совсем из Больших Полян, а куда — и мать не знала, она с облегчением вздохнула, даже перекрестилась: «Слава тебе, господи! Теперь бы еще с Дашкой разделаться...»

Тетя Маша решила сама поговорить с Дашкой, и вот однажды подкараулила ее возле своей птицефермы. Дашка шла с овчарни, где работала вместе с мужем Афоней. Дело было под вечер, и она торопилась домой — к корове, к вечерним домашним заботам, когда тетя Маша перегородила ей дорогу.

— Подожди, Дарья, опнись на минутку... Что я у тебя спросить хочу...

Дашка остановилась, уставилась на тетю Машу, та переминалась, разглядывала Дашку, ее старенькую порыжевшую шаль, заколотую булавкой, трепанную-перетрепанную Афонину куртку.

— Ну, ты что молчишь? Спрашивай. Некогда ведь,—нетерпеливо проговорила Дашка.

— Ты пошто Егора принимашь? — вдруг вздыбилась тетя Маша.— Как тебе не стыдно такой пакостью заниматься от живого мужа?

Дашка опешила, вытаращила на нее глаза:

— Ты что, ты что, Марья Петровна! Белены объелась! Он у меня жил, дак я к нему даже близко не прикасалась, а теперь — на что он мне? У меня Афоня еще в силах...

— Сказывай кому-нибудь. Люди-то не слепые, все видят, все твои шашни. У-у, бесстыжая ты, Дашка, врет и не краснеет... Не

отвертывайся, не коси рыло-то на меня. Ты и в девках перед мужиками подолом вертела, а теперь... Сознавайся уж, лучше будет, да отвяжись от Егора без греха.

Но Дашка уже забыла, что дома ее ждет недоенная корова.

— А кто видел? Говори, кто видел? — наступала она на тетю Машу.— Кто тебе сказал про это?

— Верный человек сказал, он врать не станет,— не сдавалась тетя Маша.— Говорит, Афоня сам тебя не раз ловил с Егором в постели.

— Да кто? Кто?! — Дашка схватила тетю Машу за борт ватника и трясла ее так, что у ватника полетели пуговицы.— Кто тебе говорил?

— Векшин говорил, Петр Ильич, вот кто! — озлилась тетя Маша, отдирая руки Дашки от ватника.— Он человек ответственный, врать не станет.

— Ха-ха-ха! — захохотала Дашка и, отхохотавшись, помахала кулаком.— Ну, я ему покажу, этому ответственному... Век помнить будет!

И пошла. Тетя Маша крикнула ей: «Подожди, куда ты?», но Дашка даже не обернулась, оставила недовольную, недоумевающую тетю Машу стоять на снегу, глядеть ей в спину.

Дашке и раньше намекали на ее, якобы, близкие отношения с председателем колхоза, но это было еще в звене, когда Егор жил у нее в доме, и говорилось это все шутя — просто бабы поддразнивали ее, дескать, вон какого дуба подломила Дашка, и она, тоже

шутя, посмеиваясь, не отнекивалась, задорила баб, вызывала их на такие разговоры, что у девок краснели уши.

Но когда она услышала это от тети Маши, у которой живет жена председателя, ей стало не до шуток: дело пахло скандалом, в котором она неповинна. Она сразу поняла, какую роль в этом деле играл Векшин,— однажды слышала от Афони какую-то чепуху про себя, будто сказанную ему Векшиным, но не придала ей тогда значения. А сейчас — ей не терпелось встретиться с Векшиным и спросить у него: «Ну-ка, скажи, что тебе про меня говорил Афоня?»

Но сначала решила спросить самого Афоню.

Тем же вечером, дождавшись возвращения мужа, она завела с ним разговор, но Афоня клялся и божился, что ничего подобного не говорил Петру Ильичу, и что вообще его давно не видел. Дашка поверила Афоне — человек он бесхитростный, что на уме, то и на языке, врать не будет и скрывать, что знает, тоже.

И она утвердилась в мысли, что Векшин нарочно оболгал ее перед тетей Машей, но с какой целью, так и не догадалась, да это меньше всего и занимало ее. Важен был сам факт, и она загорелась желанием поговорить по душам с Векшиным.

Такой случай ей вскоре представился.

Дня через два, идя вечером с работы, она узнала, что в магазин привезли дешевенький ситец. Забежав в дом, взяв деньги, не переодеваясь, побежала в магазин.

Народу в магазин набралось много. Ярко горела стосвечовая лампа, и при ее свете Даш-

ка увидела через головы людей продавщицу Нюрку Севастьянову, натягивающую на метр яркую полосу ситца. Она заняла очередь и стояла, болтала с бабами, глядела завистливыми глазами на счастливчиков, успевших опередить ее, в нетерпении вытягивала шею, следила за ловкими руками Нюрки, беспокоилась, хватит ли ей, останется ли на ее долю такого завидного ситца.

Уже далеко продвинулась очередь, оставалось перед Дашкой человек пять, как в магазин вошел Векшин. Он в полушубке, в большой бараньей шапке и с кнутом в руках,— видимо, откуда-то ехал, увидел народ в магазине, остановился и зашел. Громко поздоровавшись, Векшин протиснулся к прилавку и что-то стал выспрашивать у Нюрки. Дашке показалось, просит отпустить ему ситцу без очереди.

Она, быть может, еще стерпела, если б Векшин вошел, поздоровался, поинтересовался, чем торгуют, и ушел или встал бы в очередь. Но когда он влез без очереди вперед нее, Дашка такого вынести не могла — все зло, которое копилось в ней в эти два дня, полезло наружу. Она обозлилась, побагровела и, выйдя из очереди, подбежав к Векшину, дернула его за рукав, дернула так, что тот, покачнувшись, повернулся в ее сторону.

— А ну, расскажи, товарищ Векшин, как ты меня с чужим мужиком в постели заставал? Как я с нашим председателем в обнимку спала?

Шум в магазине сразу стих, люди замерли, пооткрывали рты, уставились на Векшина

и на Дашку, даже Нюрка бросила свое дело, застыла за прилавком с метром в руках.

Векшин от неожиданного напора Дашки оторопел, оглянулся по сторонам, словно поискал защиты, но увидел лишь любопытные лица баб и остервенел:

— Иди ты... знаешь куда?! И молчи в тряпочку, пока не спрашивают.

Он отвернулся от нее, вновь повернулся к Нюрке, ощерил в усмешке зубы, что-то хотел ей сказать, но не успел: Дашка молча, без размаха, сунула ему кулаком в лицо, сбила с головы шапку, потом, подпрыгнув, как кошка, вцепилась в волосы и закричала дико: «Я тебе покажу! Я тебе покажу!»

Векшин отшвырнул ее от себя прямо на толпу, поднял над головой кнут,— что-то хищное, садистское мелькнуло в его цыганских глазах, но его схватили за руки, не дали ударить. А Дашка истошно орала, лезла на Векшина, ее удерживали бабы, не отпускали от себя, успокаивали, как могли.

— Ты еще у меня попляшешь,— грозил ей кнутом Векшин.— Чужая подстилка!

— Ах, я подстилка?! — взвигнула Дашка.

Она вновь попыталась вырваться из цепких рук баб, но ничего не вышло, и тогда, откинув голову назад, с силой качнулась и плюнула на Векшина. Плевок попал на бороду и повис пузырчатым зелено-серым пятном. Векшин онемел от позора, его глаза от злости чуть не выкатились из орбит, он вытер бороду рукавом, опять взмахнул кнутом, но находившиеся в магазине мужики скрутили ему руки, завернули назад, надели на голову шапку и —

упирающегося, матерящегося — вывели из магазина, посадили в кошевку и отправили домой.

О скандале, происшедшем в магазине, Уфимцеву поторопились доложить в тот же вечер. И утром, придя на работу, он послал за Векшиным.

Тот вошел хмурый, озлобленный. Под правым глазом у него сиял огромный синяк, нос и щека были исполосованы длинными краснеющими царапинами.

В первую минуту, увидев Векшина с этими «боевыми» отметинами, Уфимцеву неудержимо захотелось смеяться,— нет, не смеяться, а хохотать, хохотать до слез. Ведь подумать только, кто его избил: Дашка, та самая Дашка, которая всего три-четыре месяца назад была его верной опорой, громче всех кричала на колхозном собрании, поддерживая Векшина, готовая сцепиться с каждым, кто был против Петра Ильича. И вот такой финал!

Но Уфимцев сдержал в себе это желание, лишь сказал брезгливо:

— Посмотри на себя, до чего ты дошел, до чего докатился! Уже колхозницы тебя бить стали.

— Я на нее в суд подам! — зарычал Векшин, затряс в ярости головой.— Я ей этого хулиганства не прощу. У меня свидетели есть.

Уфимцев недовольно поморщился, махнул рукой:

— Перестань трепаться! Хоть передо мной не разыгрывай комедии. Никуда ты не подашь, сам виноват, за дело тебя Дашка била. В суд подашь — не такого сраму наберешься.

Векшин, не сказав ничего, опустился на стул. Гнев и бессилие душили его, он хрипло дышал, не сводил глаз с Уфимцева.

— Что с тобой делать — ума не приложу! Выгнать — не имею права. Оставить тебя такого тут, показать народу — позору для себя не оберешься... Вот что, сегодня же выезжай в лесничество, в делянку, где наша бригада лес валит. Да не гостем, не начальством, а бери топор, пилу в руки — и вкалывай, покажи мужикам класс работы. Вернешься, когда задание выполните. Понял? Если понял, можешь идти.

Векшин поднялся, постоял, видимо, собирался с мыслями, хотел что-то сказать, но взглянув еще раз на сурового стоявшего за столом Уфимцева, ничего не сказал, повернулся и вышел.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Через месяц после октябрьского Пленума состоялся ноябрьский Пленум ЦК. Сообщение о нем застало Акимова в колхозе «Путь Ленина».

Накануне он проводил собрание коммунистов колхоза. Собрались в небольшом кабинете Теплова — председателя колхоза, но народу набилось порядочно — собрание было открытым, к тому же многим стало известно о приезде Акимова, и люди потянулись в правление послушать районного руководителя,— пришлось собрание из кабинета перенести в зал.

На собрании предполагалось обсудить состояние зимовки скота в колхозе. Днем Акимов поездил по фермам, познакомился с хозяйством, у него было о чем поговорить с коммунистами. Но едва парторг колхоза успел открыть собрание, объявить повестку, как кто-то в задних рядах поднял руку:

— Пущай сначала товарищ Акимов разъяснит нам насчет изменения Устава.

Так вот, оказывается, что в первую очередь интересовало колхозников!

Акимов сам только сегодня — здесь, в кабинете председателя, прочел в «Правде» статью, рекомендующую колхозам пересмотреть Устав в отношении норм содержания скота и размеров приусадебных участков. Статья его крепко обрадовала, этим решением восстанавливался старый, уже устоявшийся порядок в содержании личного хозяйства колхозника. По мнению Акимова, пока без этого хозяйства обойтись нельзя. К тому же в семье крестьянина всегда найдется у кого-то часок свободного времени поработать в огороде, подоить корову, накормить поросенка, а в результате — свои продукты, не покупать их, не платить деньги. Но только размер этот должен быть не в тягость семье, не отвлекать ее от колхозных работ.

Когда Акимов прочел статью, ему неудержимо захотелось взглянуть на Пастухова. Но Пастухова тут не было, и он мысленно представил себе его вытянутую физиономию, ушедшие к переносице глаза при знакомстве с новостью — и расхохотался. Никто иной, как Пастухов, ратовал за сплошную ликви-

дацию в районе личного хозяйства колхозников, при этом ссылался на авторитеты, на опыт одного знаменитого колхоза в Курской области, забыв о том, что нельзя не считаться с действительностью, нельзя, поднимаясь вверх по лестнице, прыгать через три ступеньки, ненароком можно споткнуться и упасть, набить себе шишек.

Он показал статью председателю колхоза Теплову.

— Правильное решение,— сказал Теплов.— Откровенно признаться, колхозники были не очень довольны. Корову держи, а теленка от нее — в забой. То же и с огородами...

Акимов понимал, как важно и своевременно решение партии о личном хозяйстве колхозников и потому не удивился, когда на партийном собрании его попросили рассказать о новости,— видимо, не он один читал сегодня «Правду». И по той тишине, по тому настороженному вниманию, с каким слушали его, он еще раз убедился, как дорога людям человеческая забота о них...

Собрание закончилось поздно, близко к полуночи. Акимов пошел на знакомую квартиру ночевать.

Лег он спать поздно и проснулся поздно, когда на столе уже шумел самовар.

И только сел завтракать, вошел Теплов.

— Проходи, Иван Максимович, раздевайся, садись чайку похлебать,— пригласила его хозяйка.

Но Теплов от чаю отказался и, не раздеваясь, прошел в комнату.

— Слушали радио? — спросил он Акимова.

— Да нет, я только встал,— ответил Акимов.— А что случилось?

— Я так и знал, что вы проспите,— сказал обрадованно Теплов,— не зря бежал... Передавали, вчера проходил Пленум ЦК. На нем порешили опять райкомы партии создавать, парткомы ликвидировать.

У Акимова выпала из рук ложка. Он с каким-то чуть ли не детским восхищением смотрел на Теплова.

— Правда? — только и спросил он.

— Правда, правда,— подтвердил Теплов,— сам слышал, своими ушами. И в области все сливается, не будет двух обкомов, двух облисполкомов.

Акимов враз потерял интерес к яичнице, к чаю, вскочил, заходил по комнате, потом ринулся к вешалке за своим пальто, и сколько его ни уговаривала хозяйка, он одевался, никак не реагируя на уговоры остаться завтракать.

— Пошли в правление,—сказал он Теплову.

И пока шел, его томили новости, кружили голову. Подумать только: вчера статья об отмене ограничений в личном хозяйстве колхозников, сегодня решение Пленума о реорганизации парткомов в райкомы, упразднение двоевластия в областях. Тут было от чего волноваться! Ему не терпелось с кем-то поделиться своей радостью, поговорить, разрядить себя от переполнявших мыслей...

Придя в правление, он тут же позвонил в партком своему помощнику, велев ему собрать членов бюро на вечер.

2

Районная партийная конференция была назначена на первую субботу декабря.

За два дня до конференции в Колташи приехал представитель обкома партии Краснов.

Михаила Матвеевича Краснова хорошо знали в Колташевском районе, особенно в пределах его прежних границ: он четыре года, до реорганизации органов районов и областей, проработал тут первым секретарем райкома. При разделении руководства области на промышленную и сельскохозяйственную части, его избрали заместителем председателя сельскохозяйственного облисполкома.

И Краснов тут тоже знал многих,— за четыре года, проведенных на посту первого секретаря, он не раз побывал во всех бригадах и фермах колхозов и совхозов, помнил лично, знал по именам не только председателей колхозов и парторгов, но и большинство коммунистов и передовиков производства.

Приезду Краснова был особенно рад Акимов, работавший раньше под его руководством, с отъездом Краснова он принял от него партийную организацию, стал секретарем парткома и как бы чувствовал свою ответственность перед ним за состояние дел в районе. Ни с кем другим он с такой откровенностью не мог бы сейчас говорить о своих делах и заботах, как с Михаилом Матвеевичем. Потому в первый же день приезда Краснова они просидели в парткоме до вечера — послезавтра Акимов будет отчитываться перед де-

легатами, а сегодня ему хотелось посоветоваться с Красновым, поделиться своими мыслями и предположениями.

А вечером в гостиницу к Краснову пришел Пастухов.

Михаил Матвеевич только что расположился почитать отчетный доклад парткома — снял пиджак, галстук, зажег настольную лампу, сел за стол, раскрыл блокнот, как дверь открылась и Пастухов, спросив: «Разрешите?» шагнул в номер.

— А-а, товарищ Пастухов? Добро пожаловать.— Краснов встал навстречу Пастухову, поздоровался, подвел к стулу, усадил.— Вот хорошо, что зашли на огонек. Я рассчитывал с вами встретиться завтра, но это даже лучше.

Они сидели по одну сторону стола, почти касаясь друг друга коленями. Пастухов, настороженно хмурясь, сводя брови, глядел на Краснова, на его лицо с припухшими подглазницами за большими очками, на начинающую лысеть голову, и ждал, что Краснов первым начнет разговор.

Так оно и произошло: тот отодвинул настольную лампу, чтобы не мешала, не била светом в глаза, и спросил:

— Ну, так что же? Слушаю вас.

Пастухов опустил глаза, полез в карман, вытащил пачку сигарет.

— Разрешите?

— Да-да, пожалуйста,— ответил Краснов и тоже, откинувшись, пошарил в карманах висевшего на стуле пиджака, достал сигареты и закурил.

— Я звонил в обком насчет своего пись-

ма,— начал Пастухов.— Мне ответили, что письмо передали вам для проверки.

— Совершенно верно, письмо ваше у меня,— подтвердил Краснов.— Мы к нему еще вернемся. А предварительно расскажите, как идут дела в районе? Как вам работается?

— В письме все это есть,— угрюмо произнес Пастухов.— Я там с достаточной полнотой проанализировал состояние дел в районе, метод руководства Акимова и изложил свой взгляд на вещи... Не понимаю, какая еще нужна проверка? Разве вам ничего не говорит, что мы сорвали выполнение обязательств по зерну, хотя возможности к этому были? Я настаивал, доказывал Акимову с цифрами в руках, я боролся за обеспечение поставок, а мне за это поставили на вид. Понимаете? На вид за то, что требовал обеспечения интересов государства. Я выступал не просто против нарушителей государственной дисциплины, а против саботажников из числа руководителей района.

Пастухов разошелся. Чувствовалось, он крайне раздражен тем, что назначили какую-то проверку, когда и так все ясно. Он возмущался, косил глазами, размахивал сигаретой.

— Вы не волнуйтесь, давайте поспокойнее,— попросил Краснов.— Кстати, я поинтересовался сегодня балансом зерна в районе и не сказал бы, что у вас его излишки. Может, вы взяли непомерно высокие обязательства, не учли своих возможностей?

— Я в своей работе учитывал одно: страна нуждается в хлебе. Отсюда и исходил,— угрюмо проговорил Пастухов.

— В принципе, конечно, верно. Но ведь вот какая история, подход тут может быть разный. Говорят, вы рубили с плеча, а бюро парткома подходило к вопросу иначе: учитывало и интересы государства, и интересы колхозов.

— Это неправда! Акимов и некоторые члены бюро стоят на местнических позициях, разводят в районе гнилой либерализм.

Краснов посмотрел печально на Пастухова, загасил сигарету, встал, прошелся по узенькому номеру, опять сел.

— Хорошо, я вас понял... Теперь скажите, а как вы понимаете то, что происходит сейчас в стране? Вот был октябрьский Пленум, полмесяца назад — ноябрьский Пленум, восстановивший прежнюю структуру управления. Как вы расцениваете, как понимаете решения этих Пленумов?

— Я понимаю так,— ответил Пастухов.— Формы могут меняться, а содержание для партийного работника должно быть всегда одно: бороться за интересы партии. А для этого не стесняться, где надо, и власть применить.

— Значит, если встать на вашу точку зрения, либерал Акимов не годится на роль первого секретаря райкома?

— Безусловно! Такие, как Акимов, не могут руководить районом, у них всегда будут недоработки. Тут нужен крепкий товарищ, принципиальный, не поддающийся чуждым влияниям.

— Например, такой, каким являетесь вы,— подсказал, улыбнувшись, Краснов.— Я правильно вас понял, товарищ Пастухов?

Скажите, вы не прочь поработать первым секретарем? Заменить Акимова?

Пастухов недоверчиво уставился на Краснова:

— Это вы по поручению обкома меня спрашиваете?

— Нет, нет,— заторопился с ответом Краснов.— Просто хочу знать ваше мнение.

Пастухов помолчал немного, словно собирался с мыслями.

— Если изберут, не откажусь,— с достоинством произнес он.— Для меня работа первым секретарем — не новинка. Учиться не надо.

Краснов посмотрел на Пастухова уже потухшим, без заметного интереса взглядом, словно ничего в Пастухове не осталось, что не было бы известно ему, похлопал ладонью отчет парткома, словно коня, заждавшегося седока, и сказал:

— Так вот, товарищ Пастухов, посоветовались мы в обкоме и решили: особой проверки вашего письма не проводить, а довести о нем до сведения районной партконференции. И как она решит, так и будет. Думаем, делегаты разберутся, что к чему... Надеюсь, и вы выступите, расскажете о своей позиции, о своем понимании дел в районе и методов руководства сельским хозяйством. А сейчас — прошу извинить,— Краснов поднялся, опять похлопал рукой по отчету,— надо вот посмотреть, почитать, подумать кое над чем.

Пастухов встал не спеша, выпятил недовольно губы — похоже, его не очень устраивало сообщение Краснова.

— Значит, обком не будет рассматривать на бюро мое письмо?

— Да, так вот решили... Ну, будьте здоровы, до завтра.

Краснов пожал руку нахмурившемуся Пастухову, проводил его до двери, любезно дотронулся до плеча:

— До завтра, товарищ Пастухов.

Когда Пастухов ушел, Краснов еще какое-то время постоял возле двери, потом походил по тесному номеру. Он думал о Пастухове, о своем разговоре с ним. Вот был же руководитель, и даже на славе в свое время,— Краснов хорошо помнит его поучающие, излишне правильные, как школьная грамматика, речи с трибун областных пленумов и совещаний,— а сейчас — изжил себя, отстал от времени, стал тормозом для других. Жизнь менялась, а он — нет. Теперь другие требования к методам руководства, а он живет старыми представлениями, меряет все на свой ветхий, стершийся аршин... Да, каждое время ищет своих людей для осуществления новых задач и отторгает тех, кто не понимает его, действует ему вопреки.

3

Партконференция открывалась в десять часов утра, и большеполянские делегаты решили выехать накануне, во второй половине дня, чтобы ночь провести в Колташах.

Всю последнюю неделю шел снег, и Уфимцев еще утром приказал конюхам подготовить две пары лошадей, две вместительные кошевки, набить их сеном, покрыть кошмами, чтобы

делегатам было тепло и мягко ехать до райцентра.

Перед выездом он сходил на квартиру — пообедал, переоделся и, прихватив тулуп хозяина, пошел на конный двор, к месту сбора.

День стоял ясный, с легким морозцем, и хотя дорога после снегопадов была мягкой, Уфимцев рассчитывал за четыре часа добраться до места,— кони были добрые, кучер надежный.

Он шел серединой улицы, неся свернутый тулуп на плече, и удивлялся, как неожиданно рано навалило в этом году столько снега. И хотя удивлялся этому, но и радовался: больше снега — больше влаги на полях весной, выше будет урожай.

Напротив правления колхоза он увидел Аню,— она шла из школы домой. Уфимцев сразу узнал ее, сердце его гулко заколотилось. Аня тоже заметила мужа, качнулась к одной стороне дороги, потом к другой, видимо, хотела уйти к домам, но путь ей преграждали кучи снега, и она пошла по дороге навстречу Уфимцеву.

Он шел, не спуская с нее глаз, и ничего не видел, кроме спешащей навстречу фигурки. Все — и поездка в Колташи, и думы про урожай, и улица с сугробами снега — ушло куда-то, исчезло из памяти, скрылось из глаз, осталась только одна эта фигурка в темносинем пальто и меховой шапочке.

Когда они сошлись, Уфимцев остановился и сказал дрожащим от волнения голосом: «Здравствуй, Аня!», но она, взглянув на него, ответила глухо: «Здравствуй» и прошла мимо.

Он повернул за ней, догнал, пошел рядом.

— Подожди... Надо поговорить.

— О чем? — спросила она.

— Как о чем? Ты подумай, три месяца прошло...

Аня не отвечала, шла, не поворачивая головы, глядя себе под ноги. Уфимцеву мешал тулуп, он перекинул его на другое плечо, тулуп распахнулся, одна пола свесилась, потащилась по снегу, но он этого не замечал.

— Не могу я один больше, пойми, не могу! Кажется, достаточно наказан за свою глупость, к чему это продолжение? Аня молчала.

— Прошу тебя, давай поговорим... Человек ты или нет?

— Человек.

— Раз человек, должно в тебе быть какое-то сострадание к другому?

— А у тебя было сострадание, когда обманывал меня?

— О, черт!.. Извини, пожалуйста. Но ведь я всеми оправдан — все признали, что это клевета. Только ты одна...

— Они не знают того, чего я знаю. В чем ты мне сам признался.

— А велика ли моя вина? И не кажется ли тебе, что наказание несоразмерно вине?

— Не кажется.

Они уже подходили к его квартире, к дому Никиты Сафонова, откуда Уфимцев вышел четверть часа назад.

— Послушай, *она* ведь уехала. Уехала отсюда совсем.

— Разве это имеет значение?

— Как не имеет? Исчезла же причина ссоры. Неужели из-за такого пустяка ты можешь разрушать семью, лишить отца детей?

— Дети к тебе ходят, я не запрещаю.

— Но ты? Ты?

Аня подняла голову, пристально посмотрела на него. Уфимцеву почудилось смятение в ее глазах, словно она превозмогала, пересиливала себя, чтобы не выдать своих истинных чувств к нему. Казалось, вот-вот она не удержится, скажет: «И я, Георгий, и я...» и со слезами радости прижмется к его груди.

Но Аня отвернулась, ничего не сказав, и торопливо, чуть не бегом, свернула на тропку, расчищенную среди снега к воротам чьего-то дома, и пошла возле домов и заборов в сторону своей квартиры.

Уфимцев остался на дороге. Он стоял и глядел ей вслед, пока она не исчезла за поворотом, пока не перестала мелькать над кучами снега ее шапочка, и он, подобрав тулуп, отправился обратно.

На конном дворе его уже ждали. Запряженные кони нетерпеливо переступали ногами, звенели бубенцы, висевшие на шлеях, так и не снятые после Юркиной свадьбы. Трое делегатов в тулупах, в валенках топтались возле кошевок.

— Наконец-то! — обрадовалась Анна Ивановна.— А мы думали, не случилось ли с вами чего?

Уфимцев поморщился,— Анна Ивановна как всегда права, с ним действительно «случилось»: произошла долгожданная встреча с женой, которая опять ничего не решила.

И только тут он заметил гремевшие бубенцы на шлеях лошадей.

— А это к чему? Не на свадьбу собрались... Дядя Павел!

Дядя Павел ходил с кучером вокруг лошадей, поправлял сбрую, ровнял сено в кошевках.

— Это, Егор Арсентьевич, как сказать... Нонешний день для партейного навроде праздника,— ответил дядя Павел.— Получше свадьбы... Весь район съедется. Вот и пусть глядят, как большеполянцы своему празднику радуются. Ведь один раз в году...

Уфимцев посмотрел на такого самоуверенного, неожиданно многословного дядю Павла, от души посмеялся его наивному представлению о съезде коммунистов района. Но что-то было в словах дяди Павла — очень душевное, бесхитростное, такое, что он махнул рукой на бубенцы и стал надевать тулуп.

4

Домой, в Большие Поляны, они возвращались не одни: вместе с ними ехал представитель обкома партии Краснов — у него было поручение проверить письмо Векшина. Накануне, ознакомившись с письмом, и Уфимцев и Стенникова убеждали Михаила Матвеевича, что ехать ему в колхоз нет необходимости: бюро парткома уже определило свое отношение к фактам, изложенным в письме Векшина, коммунисты колхоза тоже информированы и ждут лишь текста письма, чтобы обсудить его на общем собрании. Поэтому пусть

Михаил Матвеевич передаст им письмо, и после обсуждения они вышлют в обком свое решение.

Но Краснов не согласился.

— Во-первых, дело тут не в одном Векшине. В письме подписи двадцати семи человек, и мы не можем игнорировать их, не поговорить с ними, не выяснить их нынешнего отношения к событиям того времени. Я немного знаю Векшина и верю вам, что большинство из подписавших письмо было им обмануто, так вот надо раскрыть этот обман, доказать людям, что они ошибались. А если они в чем-то правы? Тогда следует поддержать их в этой правоте, помочь устранить недостатки в колхозе. А во-вторых, я выполняю поручение ЦК и не могу эту проверку перепоручить другим... Кстати, Векшин, говорите, на лесозаготовках? Попрошу: немедленно пошлите за ним.

Они ехали так: на первой подводе с кучером сидели Краснов и Уфимцев, на второй — Стенникова с другими делегатами. Ехали не торопясь, погода была прелестной — ни туч, ни ветра, только солнце на небе да снег на земле. И небо, и снег где-то там, вдалеке, сходились, а где — не различить,— перед глазами одна бело-голубая даль. И в этой дали частые березовые колки, освещенные солнцем, чистые и прозрачные, казались нарисованными прямо на небе.

И тулупы были теплые, и завтрак в ресторане «Санара» соорудили они добрый, и теперь, после двухдневного бездеятельного сиденья на заседаниях, от которых Уфимцев

устал, он ехал и сладко подремывал под мягкий перестук конских копыт и под легкое покачивание кошевки.

Партийная конференция закончилась поздно ночью. На пленуме райкома первым секретарем избрали Акимова.

А Пастухова, к неизъяснимой радости Уфимцева, даже не включили в списки кандидатов для тайного голосования. Правда, кто-то предложил, вернее, выкрикнул его кандидатуру, но выступил Игишев, и Пастухова отвели, больше к нему не возвращались.

И Василий Васильевич Степочкин потерпел крах. Делегаты конференции не критиковали его, обходили в своих выступлениях, и в списки для голосования он был внесен без споров, но результаты голосования оказались необычными, еще не встречавшимися в практике Колташевского райкома: фамилия Степочкина оказалась вычеркнутой в большинстве бюллетеней...

Лай репьевских собак разбудил уснувших Уфимцева и Краснова. Они покряхтели, поежились со сна, огляделись, где находятся.

Проезжая мимо правления колхоза, Краснов спросил Уфимцева:

— Председателем тут все еще Петряков? Или другой теперь?

— Петряков.

— Помню, слабенький был председатель... Как у них дела?

— Да все так же... Живут помаленьку.

В последнее время он много думал над предложением Акимова об объединении с Репьевкой и чем чаще думал, тем больше за-

горался перспективой, которую сулило это объединение. Он был полностью согласен со своими помощниками — и с Поповым и с Первушиным, и мысленно уже не раз прикидывал, как все изменится в новом — объединенном — колхозе, какие преимущества таятся в нем. Ему уже не терпелось, хотелось, чтобы объединение состоялось скорее, не терпелось поработать в новых условиях.

Когда выехали за село, Уфимцев не удержался, сообщил Краснову:

— Акимов рекомендует нам соединиться с Репьевкой.

— Ну что ж, рекомендация Акимова заслуживает того, чтобы к ней прислушаться,— оживился Краснов.— Я знаю ваши хозяйства — и репьевское и большеполянское. Карликовые хозяйства, по нашим временам. Можно ли в них хозяйствовать по-современному, когда на очереди вопросы интенсификации? Нет, конечно, разворот не тот! Чтобы экономически выгодно хозяйничать, получать дешевую продукцию, нужна механизация. Но механизмы экономичны в крупном хозяйстве, где они используются постоянно и круглогодично. Возьми откорм свиней. При механизации один свинарь может откормить полторы-две тысячи свиней — вот и дешевое мясо. А в твоих «Больших Полянах» можно поставить сколько на откорм? Так что — соединяйтесь... При том учти, сейчас без квалифицированных специалистов нельзя вести хозяйство, а разве карликовые хозяйства способны содержать их?

Уфимцев обрадованно покивал головой:

— Хорошо, Михаил Матвеевич, постараемся учесть ваши советы...

Четыре дня пробыл Краснов в колхозе. Он побывал во многих домах, разговаривал с Максимом, с Дашкой, со всеми, кто подписывал письмо Векшина. Говорил и с теми, кто не подписывал письма, а также со своими старыми знакомыми Василием Степановичем Микешиным и Иваном Петровичем Коноваловым.

На четвертый день к вечеру он пошел на квартиру тети Маши, к Ане. Пробыл там долго, целых два часа, и все эти два часа Уфимцев ходил из угла в угол по кабинету, отмахивался от посетителей, отсылая их то к Попову, то к Первушину.

Но вернувшийся Краснов ничего ему не сказал, лишь посмотрел на него долгим, изучаючающим взглядом и улыбнулся про себя чему-то.

В тот же вечер общее собрание коммунистов колхоза единогласно исключило Векшина из партии.

5

А через два дня Уфимцев со Стенниковой поехали в Репьевку.

Дорога бежала то перелесками, то заснеженными полями, пересекала овраги с застывшими ручьями. Вдоль дороги стояли телефонные столбы с белыми чашечками, столбы тревожно гудели.

— Говорят, столбы гудят к непогоде,— сказала Стенникова.

Уфимцев посмотрел на небо, небо было чистое, но какое-то серое, неумытое; в той стороне, где лежала степь, поднималась мгла, черная, как ночь. Он не ответил Анне Ивановне, голова его была занята другим. Он не смотрел по сторонам — на полоски полей с мышкующими лисами, на березовые колки с бесчисленными заячьими следами,— глядел задумчиво на бегущую под ноги Карька дорогу, слушал топот лошади, скрип промерзших заверток у саней и думал.

Они ехали в Репьевку договариваться о слиянии. Перед этим Уфимцев собирал актив колхоза, актив поддержал его, но он понимал, что это полдела, главное — добиться согласия в Репьевке. Он не стал просить представителя райкома, как водится в таких случаях, ему не терпелось самому съездить, прощупать, как отнесутся в Репьевке к предложению Акимова.

— А что если Петряков не согласится на объединение? — спросила Анна Ивановна, словно подслушав его мысли.

Сегодня с утра морозно, на Анне Ивановне надет большой нагольный тулуп. Из поднятого вверх бараньего воротника тулупа торчал лишь нос, да под натянутой низко на лоб шалью угадывались полузакрытые глаза. И голос слышался глухо, как из-под земли.

А Уфимцев не взял тулупа, был в одном полушубке,— ему уже сейчас жарко от предстоящего дела, и он ехал, свесив ногу с кошевки, словно подготовился соскочить с нее в любую минуту.

— Не согласится — заставим,— ответил он Стенниковой.

Карько бежал ходкой рысью, от него наносило потом, конюшней, чем-то устоявшимся, домашним.

— Если объединимся, председателем кого? Вас? — спросила не без любопытства Анна Ивановна.

— Конечно,— без тени смущения ответил Уфимцев.— Я никому эту должность не отдам... У меня с объединением столько связано планов, что... Не отдам! Так и в райкоме скажу... Пусть будет не легко, я этого не боюсь, я смогу... справлюсь.

Анна Ивановна ничего больше не спросила, усмехнулась про себя самоуверенности Уфимцева. А подумав, пришла к мысли, что он не бахвалится, действительно, может потащить на своих широких плечах объединенный колхоз как никто другой.

Петряков встретил Уфимцева и Стенникову в своем меблированном кабинете. Он сидел за широким письменным столом и, встав им навстречу и поздоровавшись, пригласил на диван. Но Уфимцев от дивана отказался — он уже испытал его однажды, посидев на голых и острых пружинах, вынес стул; Стенникова утонула в каком-то допотопном кресле.

— Слушаю вас,— сказал Петряков, вновь возвращаясь за свой стол, как бы отгораживаясь им от приезжих.

— Мы к тебе, Григорий Иванович, по очень важному делу,— сказал Уфимцев.— Оно касается будущего наших колхозов. И

просим тебя отнестись к нашему приезду со всей серьезностью.

Что-то вроде удивления или настороженности мелькнуло в глазах Петрякова, он отвел глаза от Уфимцева, открыл столешницу, вынул папироску, закурил.

— Давай, выкладывай,— сказал он.

Уфимцев начал издалека. Он говорил об особенностях их хозяйств, отличных от степных, когда кругом леса, правда, в Репьевке их поменьше, так что у них одинаковые условия, они требуют одних и тех же мер в руководстве, в направлении хозяйства. Потом говорил о необходимости механизации и невозможности этого в маленьких хозяйствах,— тут он пересказал слова Краснова, услышанные им при возвращении с партконференции,— и что только крупное хозяйство может быть рентабельным.

По мере того, как Уфимцев говорил, лицо у Петрякова все больше и больше вытягивалось, глаза суживались, становились злыми, непокорными. Он бросил недокуренную папироску в пепельницу и сказал, прервав Уфимцева:

— Понял, к чему клонишь, можешь не договаривать. Это уже было, не согласился народ. Для чего второй раз поднимать?

— Какой народ? — переспросила Стенникова.— Никакого народа не было. Векшин к тебе съездил, договорились не соглашаться и вели эту линию, доказывали району. А с народом не советовались. Я же тут была, на моих глазах все происходило.

Петряков с трудом выдавил из себя улыбку:

— Ах, Анна Ивановна! Не знаю, как у вас происходило, а мы сделали все по правилам: и правление собирали, и с активом разговор вели... Не согласились товарищи.

— Интересно, почему не согласились? — спросил Уфимцев.— Что послужило причиной к отказу?

Петряков помялся, поерзал в кресле, склонил голову на бок, словно затруднялся с ответом.

— Видите ли,— начал он,— не простое это дело соединение... Сейчас в нашем колхозе жизнь, вроде, устоялась, народ не жалуется: хлеб есть, на чай-сахар хватает. А теперь еще и ограничения в личном хозяйстве сняли, жить вовсе будет лучше. А соединишься — кто его знает, как оно получится. Начнется ломка, перестройка, механизация — сам говоришь, без механизации нельзя,— а на все надо деньги, а где их брать? Опять зубы на полку?

Уфимцев слушал Петрякова, а ему казалось: он слушает Векшина. У него пропала охота говорить с Петряковым, захотелось уйти. Он посмотрел на Анну Ивановну, в надежде узнать ее мнение, но та спустила шаль с головы на плечи, развалилась в кресле и мяла в пальцах сигаретку, готовясь закурить, и не думала об отступлении.

— Ты скажи прямо, чего ты боишься? — спросила она, закуривая.— Лишних хлопот, чтобы потом людям лучше жилось, или... за

свое место опасаешься, вдруг из мягкого кресла на табуретку пересадят?

Петряков передернулся, изменился в лице.

— Товарищ Стенникова,— угрожающе проговорил он,— па-апра-шу! Па-апрашу! Вы здесь не дома...

— Извини, пожалуйста,— ответила Стенникова,— я не хотела тебя обидеть. Но ведь странно твое упорство, словно ты не хочешь для своих колхозников лучшей жизни, чем сейчас.

Но тут Уфимцев не удержался, глядя на побагровевшую физиономию Петрякова, сказал:

— Пойдемте, Анна Ивановна. Похоже, мы не в ту дверь стукнулись.

Он поднялся, подождал, пока Стенникова повязалась шалью, пропустил ее вперед, и они ушли, не оглянувшись, не простившись, с молча сидевшим за своим широким столом Петряковым.

Выйдя на улицу, они постояли, подышали морозным воздухом.

— Куда теперь? — спросила Стенникова.

— Пойдем к партийным людям,— ответил Уфимцев, разглядывая площадь.— Кто секретарем парторганизации?

— Шумаков.

— Сергей Васильевич? Председатель сельсовета? — обрадовался Уфимцев.— Вот и пойдем к нему.

Шумаков, к счастью, оказался на месте.

— А я собирался к вам,— говорил он, раздевая и усаживая своих нежданных посетителей.— Думал, пообедаю и двинусь. Хотел депутатскую группу собрать.

— Еще успеешь, соберешь,— сказал Уфимцев.— А сейчас какое к тебе дело — и как к Советской власти, и как к партийному руководителю.

И Уфимцев рассказал о предложении Акимова, о цели их приезда, и о том, как встретил их Петряков.

Шумаков внимательно слушал его, а когда Уфимцев кончил, сказал:

— Правильно, что сюда пришли, с Петряковым говорить на эту тему — пустое дело. На словах он как на гуслях, а как до дела доходит — в кусты, любое предложение под сомнение берет... Послушали бы, что коммунисты говорили в его адрес на отчетном собрании. Приводили в пример ваш колхоз, советовали съездить, поучиться... Значит, так и сказал, что жизнь в колхозе устоялась? — переспросил он, засмеявшись.— Действительно, устоялась. Вернее, не устоялось, а застоялась. Колхозникам-то всего по килограмму выдали... Народ видит, кто и как живет, свое мнение в секрете не держит. Так что по части объединения, думаю, препятствий не будет.

— Может, позвать сюда Петрякова? — предложила Анна Ивановна.

— Бесполезно,— ответил Шумаков.— Лучше сделаем так: вечером соберем коммунистов и поговорим. Там и Петряков будет.

— А если он не придет? — не унималась Стенникова.

— Придет,— успокоил ее Шумаков.— Он побоится, что без него решат, и постарается быть, применить свое красноречие, чтобы отговорить коммунистов... Так что вы пока по-

гуляйте,— он посмотрел на часы.— О, времени-то еще мало, всего два часа, долго вам гулять придется... Так договоримся: встречаемся здесь в семь часов вечера.

На том и порешили. Дел тут других у большеполянцев не было и они уехали домой, имея в виду вернуться к началу собрания...

А вечером собрание коммунистов репьевского колхоза, несмотря на противодействие Петрякова, поддержало большеполянцев. Они договорились на отчетных собраниях по итогам года рассмотреть вопрос о слиянии, и в случае согласия колхозников, провести потом общее собрание с выбором нового правления.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Возле нового дома, срубленного председателю колхоза, не было еще ни ворот, ни забора, он стоял одиноко среди снежной полянки — большой и чистенький, как новая игрушка. Солнце било в его окна, отражало белый снег, серое небо. Из трубы над крышей высоко и тонко поднимался дым, и дом казался кораблем, плывущим по снежному океану.

От дороги к дому вела пробитая в снегу тропа,— видимо, расчистили ее только сегодня, вчера ее не было, Уфимцев хорошо помнил, ходил прямо по снегу. Он прошел по тропе, дошел до дома; желтые стены из свежеструганных бревен, казалось, излучали тепло,

он снял рукавицу, пощупал их, но бревна были холодными.

— Проверяешь? — крикнул ему, высунувшись из сеней, Микешин.— Давай проверяй, заходи в комнаты.

С Василием Степановичем они вчера условились, что сегодня опробуют печи, протопят их, и можно дом заселять, справлять новоселье.

На кухне дед Колыванов, перепачканный сажей, топил щепками русскую печь, заглядывал в чело, но печь работала исправно, не дымила, тяга была хорошей, щепа горела ровно, уютно потрескивала.

— Все печи проверил,— сказал дед.— Докладаю, зиму в тепле будешь жить, горюшка не знать. На совесть печи сработали.

Уфимцев прошел по дому. В комнатах было пусто и гулко, от стен, от полов пахло душисто и сладко сосной, словно гулял он по сосновому бору, светлому и солнечному. А в душе почему-то не находилось места для радости от нового дома.

Поблагодарив Василия Степановича и деда Колыванова, Уфимцев отправился на квартиру готовиться к переезду.

Он заблаговременно позаботился приобрести койку, стулья, даже диван для гостей, а стол ему сколотили свои плотники. И диван, и койка, и стулья хранились в сарае, и теперь Никита Сафонов, запрягши лошадь, привез все это, помог занести в дом и, пожелав хозяину счастья в новом доме, уехал.

Уфимцев остался один.

Он долго сидел впотьмах, глядел в окно на сгущающиеся сумерки. Из-за кладбищен-

ской рощи надвигалась ночь, она шла как огромная туча, закрывая небо, напуская темноту на землю. Ни звезд, ни луны, одна темная ночь, и в этой ночи он — одинокий и заброшенный, как на краю земли.

Ему захотелось есть, но есть оказалось нечего, он ничего не купил и не попросил у жены Никиты. Идти куда-нибудь покормиться было поздно да и не хотелось — навалилась беспричинная лень, и он, расстелив тощенький матрасик на койке, бросил подушку, разделся и лег, надеясь уснуть, заглушить и голод, и ненужные мысли.

Утром проснулся рано, окна чуть брезжили, отливали синевой. За стеной кто-то возился, шумел, бился о стену, словно просился в комнату. Уфимцев подошел к окну — оно было запорошено снегом от бушевавшего во дворе бурана. Ничего не проглядывалось, и он, выругавшись, распалясь сердцем на погоду, стал одеваться. Буран появился некстати, к тому же в канун Нового года: на фермах шел отел и окот, и Уфимцев опасался, как бы буран не помешал, не наделал бед.

Весь день он был занят — то в конторе, то на фермах, и, несмотря на буран, не удержался, поехал в Шалаши к Юшкову. Там побывал на свиноферме, убедился, что все в порядке, и вернулся в село поздно ночью.

Сдав Карька дяде Павлу, он было вознамерился пойти к Максиму, встретить с родными Новый год, но тут же отказался от своего намерения — так устал от дневной беготни, от поездки в Шалаши, что не хватало уже сил на это.

Дядя Павел сунул ему в руки ведерко с морожеными окунями и сорожкой — не то сам в пруду наловил, не то кто принес для председателя, дядя Павел не сказал,— и Уфимцев, поблагодарив его, пошел домой. Хлебом он запасся заранее и теперь, обеспеченный на ужин ухой, шел неторопливо, торопиться было незачем, никто его не ждал. Ветер крутился, толкал его в бок, в спину, сыпал снегом, идти было тяжело, сугробно, и он шел прямиком, не разбирая дороги, по пустынной улице. Дойдя до дома тети Маши, постоял, посмотрел на освещенные окна. Как ему хотелось заглянуть за них, узнать, что там сейчас происходит! А еще лучше, зайти и остаться там, не возвращаться в свой пустой, пахнущий сосновой тоской дом.

Он постоял и пошел дальше.

Начались школьные каникулы, и он с тревогой ожидал, что Аня соберется и уедет с детьми в город. Но прошло три дня каникул — она никуда не уехала. Это озадачило Уфимцева, сбило с толку,— он не представлял, как понимать Аню, терялся в догадках. Ему хотелось верить, что она — наконец-то! — одумалась, и теперь ждет лишь инициативы с его стороны. Но все это он выяснит завтра: пойдет поздравить ее и детей с Новым годом...

В доме было холодно, ветер выдул тепло, и Уфимцев, принеся со двора охапку щепы, затопил на кухне очаг. Оттаяв рыбу, почистил ее и поставил ведерко с водой на плиту. Соль и перец у него были, правда, не имелось ни луку, ни картошки, но он надеялся, что и без

них уха удастся, хотя варил ее первый раз в жизни.

Он стоял возле очага, следил, как в ведерке пенилась вода, шевелилась, будто живая, и вдруг забурлила, заплескалась. Он опустил рыбу, и вода утихла, заходила кругами.

Неожиданно в сенях послышались голоса, топот ног, кто-то стряхивался, обметал валенки. Уфимцев насторожился: кто бы мог быть в такое позднее время?

Дверь открылась, и в дом ввалились Первушин, Попов и Герасим Семечкин. Были они с ног до головы в снегу, словно кто катал их во дворе по снежным сугробам.

— Ты извини, хозяин, за вторжение,— сказал Первушин.— Ждали приглашения на новоселье и не дождались. Подумали, подумали — была не была! — сами пошли.

Он извлек из карманов полушубка две поллитровки московской водки, выставил их на стол; и тут же на столе появились кусок окорока, банка соленых груздей, чашка огурцов и капусты, буханка ржаного хлеба.

— Мы, строители, завсегда... Мы свое дело знаем,— говорил Семечкин, вытаскивая, как фокусник, из-за пазухи пальто четыре граненых стакана.

— Спасибо, что пришли,— сказал обрадованно Уфимцев.— Раздевайтесь, проходите.

Он действительно обрадовался их приходу, ничего другого, лучшего, и представить себе не мог в этот праздничный вечер. Разве появление Ани, но это было уж чересчур фантастично, а потому несбыточно.

Гости разделись и, потирая руки, потоптались возле стола, поглядывая на бутылки, на выложенные закуски.

— Ну так что же, хозяин,— произнес нетерпеливо Первушин.— Давай вначале кажи дом.

— Сейчас,— ответил Уфимцев.

Уха кипела, и он, сняв ведерко с огня, перенес его на стол, подстелив газету.

— О, и уха?! — изумился Попов.— Вот это да! Будет грандиозный новогодний ужин. Только недостает фейерверка, иллюминации... Но это мы мигом!

И он метнулся в комнаты, зажег всюду свет, стало вокруг светло и празднично.

Гости, сопровождаемые хозяином, двинулись за Поповым. В первой комнате стоял лишь диван — зеленый, с высокой спинкой, с кистями на валиках, да под потолком висела люстра — и больше ничего не было.

— Здесь что предполагается? — спросил Первушин.

— Гостиная,— ответил, застенчиво улыбаясь, Уфимцев.

— Посидим, мы же гости,— сказал Первушин, сел на диван и покачался, как маленький.

— А здесь что будет? — спросил Первушин, шагнув во вторую комнату, где стояла железная койка Уфимцева.— Не отвечай, догадываюсь: спальня. Потом тут будет спальный гарнитур — и тумбочки, и трюмо, и по вечерам жена хозяина будет натирать свое белое лицо ночным кремом, а сам он, лежа на мягкой поролоновой перине, будет читать

«Огонек»... А в этой, последней комнате, разумеется, детская, которой не хватает только игрушек и... самих детей. Ну, не сердись,— сказал он нахмурившемуся при последних словах Уфимцеву,— не сердись, я пошутил. Извини, пошутил не очень удачно.

Он обнял Уфимцева, и они пошли обратно в столовую, расселись вокруг стола. Семечкин проворно нарезал хлеба и ветчины, открыл бутылку, налил в стаканы водки.

— С новосельем тебя, Георгий Арсентьевич,— сказал Первушин, беря стакан.— Очевидно, выскажу общее мнение, если пожелаю тебе в самом скором времени появления в этом прекрасном доме хозяйки! И пусть зазвучат в нем милые детские голоса!

— Ура! — крикнул Попов и поднял стакан над головой. Они чокнулись, выпили, поморщились, покряхтели, стали закусывать.

— Спасибо, друзья,— сказал растроганно Уфимцев.

Некоторое время молча ели: оказалось, гости, как и хозяин, голодны, и вскоре на столе не оказалось ни ветчины, ни груздей, одни огурцы да капуста.

— А уха? — всполошился Попов.

Уфимцев сходил на кухню, принес ложки, две тарелки, извинился, что тарелок больше нет.

— Ничего, извиняем,— ответил, вставая, Семечкин.— Обзаведешься еще...

Он ловко выловил ложкой рыбу из ведерка, выложил на газету, разлил уху по тарелкам, потом взялся за бутылку.

— Лей понемногу, оставь на встречу Нового года,— сказал ему Первушин, посмотрев на часы.

За едой, за разговором они не слышали, как в сенях обметался новый гость, увидели его, когда открылась дверь,— пришел бригадир Павел Кобельков.

— С праздником! — крикнул он от порога, прижимая сверток к груди.— Принимайте в компанию.

— А, Паша! Принимаем, проходи,— ответил за всех Первушин.

Кобельков разделся, подошел к столу, вытащил из кармана солдатских брюк бутылку «Столичной», развернул сверток, в котором оказался чуть не целый гусь — поджаристый, ароматный, похоже, только что вынутый из жаровни.

— Это мой взнос,— сказал, похохатывая, Кобельков.

— Принимаем, Паша! — ответил Первушин. Он уже немножко захмелел, раскраснелся, посверкивал глазами.

— Только чревоугодничать будем в будущем году. По моим часам — через десять минут,— напомнил Попов.

Все посмотрели на свои часы — и верно, до Нового года оставалось всего десять минут. Уфимцев принес с кухни пятый стакан, и Семечкин не спеша стал разливать водку.

— Внимание, товарищи, засекаю время,— торжественно произнес Попов, засучивая рукав и держа на весу, для всеобщего обозрения, руку с часами.— Остается пять минут... четыре... три... две... одна, двенадцать ровно!

Все встали, подняли стаканы.

— С Новым годом, товарищи! С новым счастьем, мои дорогие гости! — сказал радостным от волнения голосом Уфимцев.

— Ура!!! — закричали все, и в этом крике потонул звон стаканов.

Гусь оказался великолепным, его ели, словно не было до этого ни ветчины, ни ухи.

Уфимцев совсем успокоился. Эта веселая, дружная компания сделала свое дело, отогнала от него мрачное настроение. Он расслабился, вспотел — от ухи, от водки, сидел с блаженной улыбкой, смотрел на гостей, которые ему и дороги, и милы, он видел, они любили его, и он их любил, любил сейчас, сию минуту, когда они сидят у него дома вот таким тесным кружком, едят гуся, говорят о разных веселых пустяках.

От умильных, сладко тающих в душе мыслей, его оторвал Павел Кобельков. Он поднялся за столом, говоря весело, похохатывая:

— А сейчас, товарищи... А сейчас мы выпьем — знаете за что? Мы выпьем за жену председателя, за Анну Аркадьевну, чтобы она благополучно доехала до места, благополучно разродилась и произвела на свет нового мальчика либо девочку.

Уфимцев оторопело уставился на него:

— Как... до места? До какого места?

Ему казалось, он крикнул эти слова, на самом деле спросил тихо, почти шепотом, едва раскрывая губы.

— Да в роддом же! — весело отозвался Кобельков.— В роддом, в Колташи я ее отправил. Вы что, не знали?

Уфимцев медленно поднялся. Он заметно побледнел, краска сошла с его лица, лицо вытянулось, построжело.

— Когда? — только и спросил он.

— Днем... светло еще было. Прибегает фельдшерица, говорит, надо срочно вести в Колташи. Я приказал запрячь пару бригадных лошадей и отправил... Вместе с фельдшерицей.

Гости, пораженные новостью, смотрели с удивлением на веселого Кобелькова, на неподвижно стоящего Уфимцева,— видимо, никто из них не знал об отъезде Ани.

Но Уфимцев недолго находился в оцепенении: как-то неестественно быстро, почти бегом, он метнулся к вешалке, сбросил прямо на пол одежду гостей, снял свой полушубок и стал торопливо одеваться.

— Куда вы, Егор Арсентьевич? — перестав улыбаться, крикнул Кобельков.— Не беспокойтесь, доедут, кони самолучшие... И кучером я деда Архипа посадил, он довезет, дорогу и в буран найдет.

Но Уфимцев не слушал его,— надев шапку, схватив рукавицы, выскочил за дверь.

Ночь встретила его снегом, ветром, темнотой, но он, наклонив голову, побежал вдоль улицы, навстречу ветру, расшвыривая валенками наметы снега на дороге.

Дядя Павел даже напугался, увидев ввалившегося в его каморку среди ночи запыхавшегося, залепленного снегом председателя колхоза.

— Запрягай Карька! Живо! — крикнул Уфимцев.

— Дык, Карько-то в Шалаши сбегал, куды на ём? — сказал недовольно дядя Павел, начав одеваться.

— Тогда жеребца, только быстрее... Пошли!

И Уфимцев первым вышел во двор.

2

Пока ехал по селу, еще находясь под впечатлением только что услышанной от Кобелькова новости, он не придавал значения разыгравшемуся бурану, он просто не замечал его, горел одним желанием: как можно скорее попасть в Колташи, быть вблизи Ани в это трудное для нее время. Он понимал, что ничем не сможет помочь ей, но и оставаться здесь, в неведении был не в состоянии.

И только выехав за плотину ощутил весь риск своего поступка, бросившись ночью в буран за шестьдесят километров, но уже остановиться не мог: желание попасть в Колташи настолько овладело им, что глушило все рассуждения об опасности.

А буран разыгрался не на шутку, сыпал снегом, дул со страшной силой, скрывал все вокруг. Уфимцев не видел дороги, не видел даже дуги над лошадью, видел лишь передок кошевки да темный зад жеребца, который прыгал, качался из стороны в сторону. Ориентиром ему служили редкие телефонные столбы, верхушки которых иногда проступали сквозь муть, и он вглядывался, ждал столба, и когда тот появлялся, на какое-то время успокаивался.

Порой ему казалось, он не едет, стоит на месте, а земля, небо — весь мир, окутанный снегом, бежит подле него со свистом, с шумом, с хохотом, и в этой чертовой разноголосице чудился далекий звон, то редкий и мелодичный, будто с кладбищенской церкви по покойнику, то частый и гулкий, как набат. Он прислушивался к этому звону, и чувство страха овладевало им.

А иногда ехал как в невесомости, ничего не видел, ничего не слышал, кроме воя ветра, никак не реагируя на то, что вокруг происходит, даже на то, что происходит с ним самим; что он до сих пор в одном полушубке — не догадался надеть тулуп, тулуп так и лежал под ним; что его уже замело снегом — снег на шапке, на плечах, на полах полушубка, снегу набилось полно в кошевку, он сидел, как снежная мумия, лишь изредка подергивая вожжами. И уже ничего не соображал от холода, от ветра, ехал и ехал, глядел вперед, хотя ничего там не видел, ехал с одной мыслью: добраться до Колташей...

Он не знал, сколько прошло времени с тех пор, как выехал из Больших Полян, который теперь час, казалось, едет целую вечность.

Неожиданно впереди замигал огонек, он въехал в деревню Шабурову, она стояла на половине пути. Жеребец сбавил бег, пошел шагом, стал отфыркиваться. Уфимцев пожалел его, подумав, что можно загнать жеребца, если и дальше так гнать, не давать ему передышки. Он съехал с дороги, подвернул к чуть различимому в темноте сараю, обогнул его, остановился в заветрии, вылез из кошев-

ки и, с трудом переставляя отсиженные ноги, подошел к жеребцу, снял рукавицу, потрогал его — жеребец был мокрый, от пота, от растаявшего на нем снега. Уфимцев взял из кошевки клок сена, сделал жгут, обтер им залепленную снегом морду лошади. Жеребец тыкался губами ему в полушубок, громко всхрапывал.

И только теперь в затишке Уфимцев понял, как он промерз, зубы начинали выбивать дробь. Он поднял тулуп, отряхнул от снега, надел на себя. Потом выгреб снег из кошевки, поправил попонку и сел. Посидел немного — жалко было коня, но следовало ехать, и он, тронув его, выехал на улицу деревни.

И опять отдался на волю лошади, завернулся в тулуп и прилег. В тулупе быстро согрелся и незаметно для себя уснул под вой ветра...

Он проснулся сразу, словно кто напугал его. Сыпал снег, свистел ветер, но кошевка была неподвижна: лошадь стояла. Он приподнялся, раскрыл воротник тулупа, тронул вожжами, лошадь пошла, но пройдя несколько шагов, вновь стала. Он вылез из кошевки, но тут же утонул по колена в снегу: под ним не было твердой дороги, видимо, пока спал, жеребец сбился с пути.

Беспокойство охватило Уфимцева. Он прошел вперед, держась за оглоблю, взял жеребца под уздцы, посмотрел вокруг, не зная куда идти, почему-то решил, что лучше вправо, дорога вероятнее всего там, и пошел.

Идти оказалось тяжело, снег был глубоким, но он шел, шел упрямо, стараясь дер-

жаться взятого направления. Вскоре вспотел и скинул тулуп, положил в кошевку, сам опять пошел впереди лошади.

Он долго ходил, но дороги не было, не было и телефонных столбов, служивших ему ориентиром и, наконец, совсем выбился из сил, устал, сел в изнеможении на кошевку, уставился во тьму, подумал со страхом, что вот так и пропадет в степи, не найдет дороги.

Неожиданно снег перестал, ночь разорвалась, посветлела, на небе расплылось бледное пятно от луны, по нему быстро проносились тонкие и легкие, как дым, облака. Буран сменился поземкой, она шла высокая, в человеческий рост, поднимая рыхлый снег.

И всего в десяти шагах от себя увидел телефонный столб и, кажется, никогда и ничему так не радовался, как этому сосновому бревну, с двумя чашечками на вершине...

В Колташи он приехал на рассвете, было еще темно, но в окнах горел свет. Поземка словно ушиблась о дома, притихла, осела, стала мести понизу, кататься из переулков в улицы, но теперь она была не страшна.

Он свернул в сторону районной больницы, въехал в ограду и остановился перед двухэтажным деревянным зданием роддома. Окна его еще слепли от темноты, лишь внизу, в дежурной комнате, был свет.

Он вылез из кошевки, подошел к двери и громко постучал. Через минуту кто-то, брякнув крюком о порог, открыл дверь, и в проеме показалась женщина.

— Роженицу привезли? — спросила она.

— Нет. Жена тут... должна родить. Узнайте, Уфимцева Анна...

— Да ты что, сумасшедший? — удивилась женщина.— В такую рань. Приходи днем, когда откроют.

Дверь захлопнулась, опять прогремел крюк, и все стихло. Он постоял, потом, загнув рукав тулупа, посмотрел на часы: было семь утра. Вернулся к лошади — жеребец опал в теле, похудел, стоял весь мокрый, исходил паром. Он погладил жеребца по щеке, потом прижал его голову к груди — все-таки молодец, довез до места,— и, сев в кошевку, поехал на конный двор управления.

Сдав жеребца, пошел на квартиру к Акимову.

3

Маша, жена Акимова, вышедшая в прихожую в наспех надетом халате и шлепанцах, увидев его черное, иссеченное ветром лицо, покрасневшие глаза, припухшие веки, удивленно спросила:

— Что с тобой? Откуда это ты?

— Из дому.

— Из Полян? Прямо сейчас?

— Сейчас.

— Надо же! Николай! — позвала она мужа.— Ты иди, посмотри на этого путешественника... Да раздевайся, чего стоишь? Проходи в комнату.

Она ушла. Уфимцев разделся, причесал волосы. Ноги с трудом держали его, он страшно устал, сел на первый же стул. Все плыло, кружилось вокруг — и стол, и сер-

вант, и диван у стены, словно он все еще ехал по буранной степи, даже покачивание и толчки кошевки в ухабах он сейчас ощущал так явственно, будто сидел не на стуле, а по-прежнему в кошевке.

Акимов вышел из спальни, одетый по-домашнему, в пижаму, чисто выбритая голова его блестела, отражая свет люстры.

— Ну, здравствуй! С Новым годом тебя! — Он поднял его со стула, пересадил на диван, сам сел рядом.— Рассказывай, что случилось? Какая нужда погнала в такой буран?

— Аню в роддом увезли... без меня,— ответил Уфимцев, поеживаясь, потирая руки. Он все еще мерз, хотя в комнате было тепло.

— Аню? В роддом? — послышался из спальни голос Маши.— Ну, а ты чего мчался? Ха-ха! Помогать родить?

Он и сам теперь не очень представлял, зачем мчался в такую даль — ночью, в буран, когда можно было приехать днем, не подвергая себя опасности, но оставаться в Больших Полянах он не мог. И если бы вновь это случилось, он бы вновь повторил этот путь, не раздумывая.

— Перестань издеваться над человеком,— крикнул жене Акимов.— Лучше сооруди-ка нам чего-нибудь погорячее. Ты погляди, он же промерз насквозь...

После стопки водки и горячего чая Уфимцев наконец-то отогрелся, лицо его раскраснелось, голова отяжелела, затуманилась, захотелось спать, он чувствовал недомогание, но, поблагодарив Машу за завтрак, пошел одеваться.

— Ты куда? — остановила она его.

— Пойду к Ане.

— Вот смешной! Да кто тебя к ней пустит? И потом, посмотри на себя, ведь спишь на ходу! Иди-ка лучше на диван, поспи. А я позвоню, разведаю, как у нее дела обстоят.

Он подчинился, лег на диван, укрылся одеялом и сразу поплыл куда-то, опять его понесло, закачало, и уснул.

Спал он весь день, не слыша, как хозяева дома приходили и уходили, и проснулся к вечеру весь в поту, от раздирающего грудь кашля.

— Э, мужик, да ты, похоже, простыл,— сказала, входя, Маша, услышав, что он проснулся.— А у меня для тебя новость.

Уфимцев спустил ноги с дивана, сел, уставился на нее. Она подошла, положила ему руку на лоб — лоб был горячий, но и без этого было видно, он весь полыхал в жару.

— Николай,— крикнула она,— позвони в «неотложку», пусть приедут.

— Не надо,— запротестовал Уфимцев.— Зачем это?

— Надо. Лежи... Иначе ничего не скажу, никаких новостей...

Уфимцев покорно лег.

— Ну вот... А теперь слушай: поздравляю тебя с сыном.

Но не успела она договорить, как он вскочил, радостно замычал, схватил ее в охапку, поднял, стал целовать, закружил по комнате.

— Николай,— кричала, хохоча, Маша,— иди сюда! Он меня задушит.

Акимов вошел, но Уфимцев уже отпустил Машу — раскрасневшуюся, с растрепанными волосами.

— Ты смотри у меня! — погрозил ему пальцем Акимов.— Ишь ты, добрался до чужой жены! Свою имей!

Уфимцев, шумно дыша, все еще улыбаясь, шлепнулся на диван.

— Когда? — спросил он у Марии, крутившейся перед зеркалом.

— Сегодня утром. Три восемьсот, вот какой здоровяк!.. Фу, дьявол! Всю прическу испортил. Мы же в гости собрались...

Врач «неотложки», прибывшей вскоре, молодая, с подрисованными глазами женщина, определила у Уфимцева катар верхних дыхательных путей, назначила лекарства, постельный режим.

— Дня три придется полежать, пока держится температура,— сказала она, мило улыбнувшись, не замечая, какую боль причиняла ему этим невольным арестом.

— Мы думали тебя с собой в гости прихватить,— сказал Акимов, когда врач ушла,— но раз такое дело — сиди дома, отлеживайся.

Но Уфимцеву было не до гостевания у чужих, малознакомых людей. Если б и был здоров, непременно отказался,— ему нетерпелось побыть одному, он еще не свыкся с мыслью, что у него появился второй сын! Мучил кашель, болела голова, першило в горле, но он уже не замечал болезни, не обращал на нее внимания.

И когда Акимовы ушли, он заторопился к телефону. Сердце его учащенно билось, пока он вызывал роддом, пока слушал, как приятный женский голос — ему он казался музыкой, нежным звуком скрипки — рассказывал о том, что он уже знал от Маши. Он готов был это слушать еще и еще, но, к его огорчению, там, на том конце провода, повесили трубку...

Весь следующий день он пробыл дома под неусыпным наблюдением Маши. Акимов ушел на работу, и она пичкала Уфимцева микстурами, ставила горчичники, поила чаем — с медом, с сушеной малиной. Он потел, кашлял, чихал и... спал.

А утро третьего дня встретил совершенно здоровым, как будто и не болел.

И когда Акимов после завтрака собирался на работу, он решил тоже пойти, не хотел больше лежать, оставаться дома, но Маша — этот злой ангел в юбке — накричала на него, как на маленького:

— И не смей думать! Что доктор сказал? Лежать три дня. Вот и лежи... А завтра — посмотрим.

Но он не мог лежать, не мог находиться в бездействии, когда тут рядом Аня и сын. И когда Маша ушла в магазин, быстро оделся и вышел на улицу.

Еще не доходя до больничной ограды, лишь увидев в просвете домов освещенное зимним солнцем здание роддома, он забыл обо всем в предчувствии встречи с Аней.

Войдя в больничный двор, он остановился напротив здания роддома, стал смотреть в

окна второго этажа, в надежде увидеть Аню. Окна синели, отражали небо и снег, порой зеркально поблескивали, и он перемещался по глубокому снегу, ходил, старался разглядеть что-нибудь за голубыми переплетами окон.

Наконец в одном окне показалась женщина. Она посмотрела внимательно на Уфимцева, потом, вытянув шею, поглядела в ту и другую сторону от него и скрылась. Вскоре в другом окне появилась вторая женщина, тоже поглядела на Уфимцева и, отвернувшись, похоже, что-то сказала тем, что были с ней, показывая рукой через плечо на него.

И вот в окнах замелькали любопытные женские лица, поглядев, исчезали.

И когда любопытных уже не стало, в окне появилась Аня. У него сразу упало и куда-то закатилось сердце, он почувствовал, как немеют ноги, отливает кровь от лица.

Аня была одета в серый, клетчатый халат, который она придерживала рукой у горла. Она сразу узнала его и, как он понял, обрадовалась ему,— это он видел по вспыхнувшей улыбке на ее лице. Она приветливо помахала рукой, а он, стащив с головы шапку, стал махать ею так, будто находился от нее в трех километрах.

Она перестала улыбаться, подняла ладошку, почиркала пальцем по ней, потом махнула рукой в сторону двери, и он догадался, что должен идти в приемную для посетителей, она вышлет ему записку.

В приемной никого не было и он, подойдя к окошку, сгорая от нетерпения, спросил у дежурной сестры, пожилой и на вид благо-

душной женщины, что-то писавшей на узком листе бумаги:

— Мне записку должны передать... От жены.

— Подождите, принесут,— ответила спокойно сестра, даже не взглянув на него.

Он огорченно отошел от окна, прислонился к стене.

Ему казалось, прошла вечность, как он стоит тут. Но вот в дежурку вошла девушка в коротком до колен халатике, и он сразу, по каким-то непонятным ему признакам, определил: это к нему.

— Кто тут Уфимцев? — спросила девушка, вынимая из кармана листок бумаги.

— Я! — хотел крикнуть он, но лишь прохрипел, взял листок, торопливо развернул и стал читать карандашные строчки — строчки прыгали, плыли у него перед глазами, он читал, перечитывал и никак не мог понять их смысла, видел лишь одно: это писала Аня.

«У меня все хорошо,— писала она.— Не жди нас, мы не скоро, уезжай, я позвоню, когда придет время. Передай привет маме, поцелуй ребятишек. Аня».

Он крикнул девушке, принесшей записку: «Подождите, не уходите!», достал из кармана авторучку и, положив записку на подоконник, стал торопливо писать на ней. Он исписал одну сторону бумажки, перешел на вторую, мысли его скакали, как перо по бумаге на неровном подоконнике. Письмо было торопливое, сумбурное, но он надеялся, Аня поймет.

— Скоро вы? — спросила девушка.

Он отдал ей записку и тут же выскочил за дверь, побежал на прежнее место, откуда высматривал Аню.

Солнце уже передвинулось, и стекла окон были теперь светлыми, чистыми, словно их только что помыли, он даже видел сквозь них противоположную стену Аниной комнаты и на ней картинку в простенькой рамке.

Аня появилась в окне — ему показалось внезапно, хотя он и ждал ее,— помахала листочком бумаги. Она вновь улыбалась ему, и он догадался, что, прочтя записку, она поняла его, и неожиданно почувствовал, как тугой комок радости подкатил к горлу, стеснил дыхание.

Когда Аня отошла от окна, он еще постоял, подождал чего-то, потоптал снег и, повернувшись, быстро пошел со двора.

Конец.

Слободчиков Иван Федорович

БОЛЬШИЕ ПОЛЯНЫ

Роман

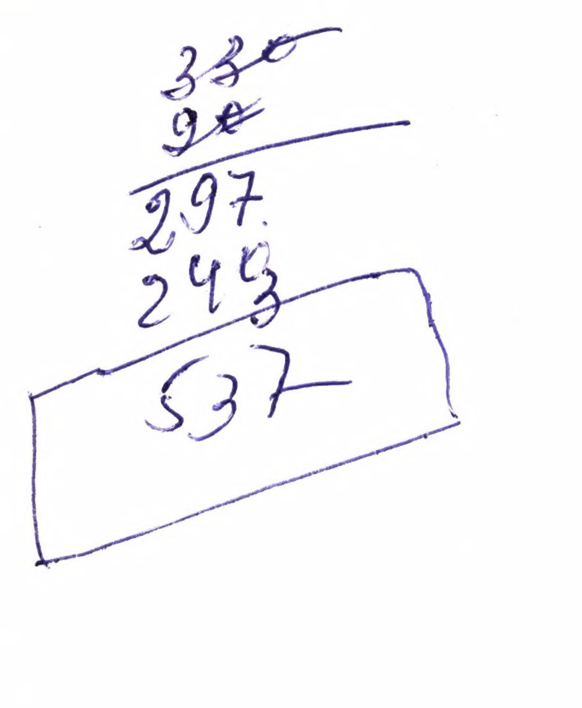
Часть вторая

Редактор *Б. Павлов*
Художественный редактор *А. Астраханцев*
Художник-оформитель *С. Фадеев*
Технический редактор *Ф. Рахимова*
Корректор *Т. Г. Лабанова*

Сдано в набор 20|XI-1972 г. Подписано к печати 9|III 1973 г. Формат $70 \times 90^{1}/_{32}$. Физ. печ. л. 9,0. Условн. печ. л. 10,53. Уч.-изд. л. 10,35. Тираж 30000 экз. Изд. № 80. П05123. Заказ № 344.
Бумага тип. № 3. Цена 42 коп.

Башкирское книжное издательство Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров БАССР, г. Уфа-25, улица Советская, 18.

Уфимский полиграфкомбинат Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров БАССР, г. Уфа-1, проспект Октября, 2.


297
537

Цена 42 коп.

Н. СЛОБОДЧИКОВ

БОЛЬШИЕ ПОЛЯНЫ